

OSIP MANDEL'STAM

COLLECTED WORKS

IV - supplement volume

Edited by Gleb Struve, Nikita Struve and Boris Filipoff

YMCA-PRESS

1981

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

IV - дополнительный том

Под редакцией Г. Струве, Н. Струве и Б. Филиппова

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, 75005 Paris

1981

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Собрание сочинений было закончено в 1971 г. вторым изданием второго тома, в который уже вошли первые дополнения к трехтомнику. С тех пор прошло десять лет; за это время были найдены новые тексты Мандельштама, затерявшиеся в редких современных изданиях или в архивах. Настоящий дополнительный том приближает Собрание к почти академической полноте.

Изучение Мандельштама за тот же десятилетний период обогатилось, как в России так и зарубежом, рядом монографий и научных статей. В виду их обилия, мы изменили в дополнительном томе принцип библиографии, ограничиваясь книгами и статьями, посвященными целиком или в значительной мере Мандельштаму. Перечислять работы, где Мандельштам только упоминается, нам показалось излишним.

Всем, кто помог нам в составлении этого тома мы приносим искреннюю благодарность, особенно главным вкладчикам, В. Швейцер и Ю. Иваску.

Н. Струве

СТИХИ

О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый
и острый.

В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поотдадь стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
И песчанная отмель — добыча вечернего вала
Как невеста белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы,
И на дно опускались и тихое дно зажигали;
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце и первые звезды мигали; —
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
И не знаю, как долго. не знаю кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

20-IV-1908

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов.

И, как медленная тень,
Ты сошла в морозный день

Глубока, как ночь, зима
Снег висит как бахрама.

Ворон на своем суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед,

Тонкий лед моей души —
Созревающей в тиши.

[1908-09]

В непринужденности творящего обмена,
Суровость Тютчева — с ребячеством Верлена
Скажите — кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величье,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!

[1908].

Довольно лукавить: я знаю,
 Что мне суждено умереть;
 И я ничего не скрываю:
 От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознание,
 Что я не умею дышать;
 Туманное очарование
 И таинство есть — умирать...

Я в зыбке качаюсь дремотно
 И мудро безмолвствую я:
 Решается бесповоротно
 Грядущая вечность моя!

[1908] или [1911]

500. ПИЛИГРИМ

Слишком легким плащом одетый,
 Повторяю свои обеты.

Ветер треплет края одежды —
 Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный — пускай скитальцы —
 Безотчётно сжимают пальцы.

Ветер веет неутомимо
 Веет вечно и веет мимо.

[1909]

501.

Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
Безжизненной кулис,
И месяц весь опутанный,
Беспомощно повис.

Темнее занавеситься;
Все небо охватить:
И пойманного месяца
Совсем не отпустить.

1909.

502.

. коробки
. лучшие игрушки.
. . . на пальмовой верхушке
Отмечает листья ветер робкий.

Неразрывно сотканный с другими
Каждый лист колеблется отдельно.
Но в порывах ткани беспредельно
И мирами вызвано иными —

Только то, что создано землею.
Длинные, трепещущие нити,
В тщетном ожидании наитий
Шелестящие своей длиною.

[1910]

Листьев сочувственный шорох
 Угадывать сердцем привык,
 В темных читаю узорах
 Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли —
 Прозрачная, строгая ткань...
 Острые листья исчисли —
 Словами играть перестань.

К высям просвета какого
 Уходит твой лиственный шум —
 Темное дерево слова,
 Ослепшее дерево дум?

Гельсингфорс, май 1910

В изголовьи черное распятие,
 В сердце жир и в мыслях пустота —
 И ложится тонкое проклятье —
 Пыльный след — на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный
 Так похож на мозаичный сон!
 Ах, зачем молчанья голос грозный
 Безнадежный негой растворен!

И слова евангельской латыни
 Прозвучали, как морской прибой;
 И волной нахлынувшей святыни
 Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет —
Страшен мне «подводный камень веры»,*
Роковой ее круговорот!

Петербург, ноябрь 1910.

505.

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат черный блеск пруда
И вздрагивает, тростниками
Чуть окаймленная, вода.

То — пряжу за собою тянут;
И, словно, паутину ткут;
То — распластавшись — в омут канут —
И волны траур свой сомкнут.

И я, какой то невеселый,
Томлюсь и падаю в глуши —
Как будто чувствую уколы
И холод в тайниках души...

1911.

506.

Медленно урна пустая
Вращаясь над тусклой поляной
Сеет надменно мерца
Туманы в лазури ледяной.

* Тютчев.

Тянет, чарует и манит —
Непонят, невынут, нетронут —
Жребий — и небо обманет
И взоры в возможном потонут.

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах.

Выбор мой труден и беден
И тусклый простор безучастен.
Стыну — и взор мой победен
И круг мой обыденный страстен.

11 февраля 1911.

507.

Я знаю, что обман в видении немислим,
И ткань моей мечты прозрачна и прочна;
Что с дивной легкостью мы, созидая, числим
И достигает звезд полет веретена.

Когда, овеяно потусторонним ветром,
Оно оторвалось от медленной земли,
И раскрывается неупловимым метром
Рай, распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья —
По мановению эфирного гонца —
В край, где слагаются заоблачные звенья
И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь художник —
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

июль 1911.

508.

Когда подымаю,
Опускаю взор —
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.

И мукою в мире
Внесены мои
Тяжелые гири
Шаткия ладьи.

Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.

Есть в тяжести радость
И в паденьи есть
Колебаний сладость —
Острой стрелки месть.

июнь 1911.

509.

Дождик ласковый, тихий и тонкий
Осторожный, колючий, слепой,
Капли строгие скупы и звонки
И отточен их звук тишиной.

То — так счастливы счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто, подхвачена темным
Ветром, струя уносится вкось.

Тайный ропот, мольба о прощеньи:
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Вся жестокость, вся кротость, на миг.
В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, музы и муки
Жизни тающей сладостный плач!

22 авг. 1911.

510.

Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность безотчетна
И как ты называешь
Мой трепет — все равно;

И для чего признание,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?

Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи!
И таинство их власти
Убийственной молчит!

И змей тревожный танец,
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

7 августа 1911.

511.

В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.

Только святые умеют так
В благоуханном гробу лежать;
Выпростав руки, блаженства в знак,
Славу свою и покой вкушать.

Разве Россия не белый рай
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!

дек. 1914.

512.

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена —
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!

1916.

513. ЖЕЛЕЗО

Идут года железными полками
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное — в воде, железясь,
И розовое, на подушке грезясь.

Железная правда — живой на зависть
Железен пестик и железна завязь.
И железой поэзия в железе
Слезящаяся в родовом разрезе.

22 мая 1935.

514.

Тянули жилы, жили были
Не жили, не были нигде
Бетховен и Воронеж — или
Один или другой — злодей.

На базе тёмных отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.

В театре публики лежало
Не больше трёх карандашей
И дирижёр, стараясь мало,
Казался чортом среди людей.

май 1935.

515.

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать —
Я был больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманый метод,
Напропалую, напрямик,
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Воронеж, 1935

516.

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный.
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, беспорный,
Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель дальноркий
Трудящихся. Твой угольный, твой горький
Могучий мозг, гори, гори стране.

апр. май 1935.

517. (СТИХИ О СТАЛИНЕ)

1.

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной, —
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок,
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголёк, —
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

2.

Я б несколько гремучих линий взял,
Все молодежавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете,
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, — вдруг узнаёшь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!

3.

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой — ему народ родной —
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поет густея,
Само грядущее — дружина мудреца
И слушает его все чаще, все смелее.

4.

Он свесился с трибуны как с горы
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта — отца речей упрямых
Лепное, сложное, крутое веко, знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь — откровенность, весь — признанья медь.
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех готовых жить и умереть
Бегут играя хмурые морщинки.

5.

Сжимаемая уголёк, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья.

Я у него учусь не для себя учась.
Я у него учусь — к себе не зная пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада...
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

6.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое.

7.

И шестикратно я в сознании берегу
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы
Его огромный путь — через тайгу.
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали.
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

январь 1937.

518-530. ОТРЫВКИ И СТРОЧКИ ИЗ
УТЕРЯННЫХ СТИХОВ

518.

Поднять скрипучий верх соломенных корзин
[1908]

519.

.....

Я помню берег вековой
И скал глубокие морщины,
Где, покрывая шум морской,
Ваш раздавался голос львиный.

И Ваши бледные черты
И, в острых взорах византийца,
Огонь духовной красоты —
Запомнятся и будут сниться.

Вы чувствовали тайны нить,
Вы чуяли рождение слова...
Лишь тот умеет похвалить
Чье осуждение сурово.

Берлин 1910.

520.

Не разбирайся, щелкай, милый Кодак,
Покуда глаз — хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшко. Больше светотени
Еще! Еще — сетчатка голодна.

[1931].

521.

Из раковин кухонных хлещет кровь
И пальцы женщин пахнут керосином.

[1931]

522.

...И пламенный поляк ревнивец фортепьянный,
...Чайковского боюсь — он Моцарт на бобах,
...И маленький Рамо — кузнечик деревянный.

523.

В оцинкованном влажном Батуме,
По холерным базарам Ростова
И в фисташковом хитром Тифлисе
Над Курюю в ущелье балконном
Шили платье у тихой портнихи.

[Апрель 1934]

524.

На этом корабле есть для меня каюта

[1937]

525.

Там уж скоро третий год
Тень моя живет меж вами.

[1937]

526.

Но уже раскачали ворота молодые микенские львы

527.

В Париже площадь есть — ее зовут Звезда
... машин стада.

528.

Такие же люди как вы с глазами вдолбленными в череп,
Такие же судьбы как вы лишили вас холода
тутовых ягод

[1937]

529.

И веером разложенная дранка
Непобедимых скатных крыш...

[1937]

530.

На высокие угёсы, Волга, хлынь

[1937]

ЭПИГРАММЫ, ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

531.

Актеру, игравшему испанца

(«Загадка и разгадка»)

Испанец собирается порой
На похороны тетки в Сарагосу,
Но все же он не опускает носу
Пред теткой бездыханной, дорогой.
У гроба он закурит пахитосу
И быстро возвращается домой.
Любовника с испанкой молодой
Он застаёт, и хватъ его за косу!
Он говорит: не ездил я порой
На похороны тетки в Сарагосу.
Я тетки не имею никакой,
Я выкурил в Севилье пахитосу,
И вот я здесь, клянусь в том бородой
Бишбердоса и Бомбардоса!

[1909]

532.

Ubi bene, ibi patria,
Но имея другом Бена
Лившица, скажу обратное:
Ubi patria, ibi bene

[1930]

533-540. МАРГУЛЕТЫ

533.

Старик-Маргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.

Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу я панихиду
За ЗКП его души.

534.

У старика Маргулиса глаза
Преследуют мое воображенье,
И с ужасом я в них читаю «За
Коммунистическое просвещение»!

535.

Я видел сон, мне бес его внушил:
Маргулис смокинг Бубнову пошил,
Но тут виденья вдруг перевернулись
И в смокинге Бубнова шел Маргулис.

536.

Старик Маргулис из Ростова
С рекомендацией Бубнова,
Друг Островера и Живова
И современник Казакова.

537.

Старик Маргулис на Востоке
Постиг истории истоки.
У Шагинян же Мариетт
Гораздо больше исторьетт.

538.

Звезды сияют ночью летней,
Марганец спит в сырой земле,
Но Маргулис тысячетный
Марганца мне и звезд милей.

539.

Старик Маргулис — разумей-ка!
Живет на Трубной у Семейки,
И пядей будучи семи
Живет с Семейкой без семьи.

540.

Старик Маргулис на бульваре
Нам пел Бетховена.....

[30-ые годы]

541. ЭПИГРАММА В ТЕРЦИНАХ

Есть на Большой Никитской некий дом —
Зоологическая камарилья,
К которой сопричастен был Вермель.

Он ученик Барбея д'Оревилльи.
И этот сноб, прославленный Барбей,
Запечатлелся в Вермелевом скарбе

И причинил немало он скорбей.
Кто может знать, как одевался Барбий?
Ведь англичанина не спросит внук,
Как говорилось: «дёрби», или «дәрби»,
А Вермель влез в Барбеевый сюртук.

весна 1931.

542.

Ходит Вермель, тяжело дыша,
Ищет нежного зародыша.

Хорошо на книгу лѡжится
Человеческая кожица.

Снегом улицы заметены,
Люди в кожу переплетены —

Даже дети, даже женщины —
Как перчатки у военщины.

Дева-роза хочет дочь нести
С кожей особой прочности.

Душно... Вермель от эротики
Задохнулся в библиотеке.

октябрь 1932.

543.

Счастия почти отчаяв,
Едет в Гатчину Вермель.
Он почти что Чаадаев,
Но другая в жизни цель.

Он похитил из утробы
Милой братниной жены... —
Вы подумайте: кого бы?
И на что они нужны?

Из племянниковой кожи
То-то выйдет переплет!
И, как девушку в прихожей,
Вермель чорта ущипнет.

октябрь 1932.

544.

Какой-то гражданин,
Не то, чтоб слишком пьяный,
Но может быть в нетрезвом виде —
Он
В квартире у себя установил орган.
Инструмент заревел. Толпа жильцов в обиде.
За управдомом шлют. Тот гневом обуян.
И тотчас вызванный им дворник Себастьян
Бах-бах —
Машину смял
Мошеннику дал в зубы.
Не в том беда, что Себастьян — грубьян,
Но плохо то, что бах какой-то грубий.

нач. 1934.

545.

Источник слез замерз и весит пуд, оковы
Обдуманых баллад Сергея Рудакова.

1937.

546.

Наташа, ах, как мне неловко,
Что я не Генрих Гейне:
К головке — переводчик ейный
Я б рифму закатил плутовка.

24 февр. 37.

547.

Наташа, ах, как мне неловко!
На Загоровского, на маму —
То-бишь не божию коровку
Заказывает эпиграмму!

548.

Наташа спит. Зефир летает.
Для девушки, как всякий знает
Сон утренний источник слез
Головомойку означает,
Но волосы ей осушает
Какой-то мощный пылесос
И перманентно иссякает
И вновь кипит источник слез.

24 февр. 37.

548^{BIS}.

Эта книжка украдена Трошею с СХИ,
И резинкою Вадиной для Наташи она омоложена
И ей дадена в день посещения дядина.

37.

Переводы

549.

La chair est triste, hélas...

Плоть опечалена и книги надоели...
Бежать... Я чувствую, как птицы опьянели
От новизны небес и вспененной воды.
Нет — ни в глазах моих старинные сады
Не остановят сердца, пляшущего, доле;
Ни с лампою в пустынном ореоле
На неисписанных и девственных листах
Ни молодая мать с ребёнком на руках.
.....

1910.

550. БИРНАМСКИЙ ЛЕС

Бирнамский лес. Призрак Халдеи.
Лорд Пьеро сугулится сильней.
Леди Макбет сидит, бледнея,
На коленях у пьяных гостей.
Черти Рембо взвалили на плечи.
Он тянется к скрипке мертвой ногой.
Самоубийц пирует вече,
Шлет Моураву вызов свой.
Преследует желтого малайца —
За ним павлинов цветной ураган —
Паоло. Офелия шатается:
Пощечину Гамлету дал Валериан.
А на виселице построен
Полоумный воздушный храм...
Разлюбив, я в душе спокоен...
Всех мучительней Мери улыбается нам.
Коломбина... Кашель чахоточный пери...
И свистящий ноябрь запечатал двери.

1921.

551. ПЕСНЯ О РОЛАНДЕ

(отрывки)

1

ЗАПЕВКА

Карл всемогущий, император наш,
Шесть лет сполна в Испании пребывал —
До самых волн покорил горный край.
Замки пред ним склонились все подряд,
Не устояли ни крепость, ни вал,
Лишь Сарагоса, что с горы видна.
Там царь Марсиль, что с Богом не в ладах,
Чтит Магомета, Аполлону рад —
Не сохранит себя, погибнет сам.

2

*Роланд отказывается трубить в рог.
Турпин благословляет армию.*

«Роланд, мой друг, трубите в олифант,
Услышит вас Карл, что ущельем идет,
Верно говорю, французы будут здесь».
«Не допустит Бог, — отвечает Роланд. —
Про меня не должны говорить среди людей,
Что ради поганных трубил в мой рог.
Не хочу опозорить свою родню,
Вот, когда начнется великий бой,
Я ударю тысячу раз и еще семьсот —
Всем сверкнет Дюрандаля кровавая сталь».

Французы хорошие люди, сражаются правильно,
Ждет людей из страны испанской неминуемая смерть».

Говорит Оливье: «Тут рассуждать нечего.
Я видел сарацинов из страны испанской;
Ими усеяны холмы и долины
И все равнины и плоские земли.
Несметная сила у этих чужестранцев,
А у нас всего небольшая горстка».

Отвечает Роланд: «Это мне сил прибавит.
Не допустит Бог со святыми и ангелами,
Чтобы Франция из-за меня лишилась чести.
Лучше мне умереть, чем быть опозоренным.
Император нас любит за то, что сражаемся правильно».

Роланд храбр — Оливье мудр,
Одинаковой доблестью отличены оба.
Уж если они на коне и при оружьи,
Ради темного страха спиной не станут к битве.
Хороши князя с высокомерной речью.
Одурели язычники, коней пришпорили.

Говорит Оливье: «Друг Роланд, оглянитесь —
Трубите в олифант — сейчас вполне прилично.
Был бы здесь император — мы бы сразу окрепли, —
И для спутников наших ваша трубля не зазорна:
Взгляните на горы перед Аспрским ущельем —
Увидите войска печальное охвостье.
Я говорю правильно, другого не придумаешь».
«Бросьте, Оливье, советовать бесчестье.
Не на месте сердце сидит у малодушных,
Стреножим коней, выберем место битвы.
Приготовим большие удары и самые большие.

Когда Роланд увидел, что битва им предстоит,
Заиграл гордостью, стал как лев, как леопард,

Кличет французов, Оливье выговаривает:
«Товарищ мой ласковый, полно вам говорить,
Когда император приказал нам здесь быть.
Он так подобрал двадцать тысяч, один к другому,
Чтобы ни один не примазался к нам изменник.
Ради господина человек должен жестко спать
И терпеть большую стужу и великий жар,
Для него сложить голову и пролить кровь.
Ты бей копьем, а уж я Дюрандалью,
Доброй шашкой, подарочком императорским.
Если меня убьют, тот, кто возьмет шашку,
Скажет: «Она служила честному вассалу».

А с другой стороны Түрпин, епископ,
Лошадь пришпорил, на холм въезжает,
Кличет французов, начинает проповедь.
«Господа бароны, Карл нам велел здесь быть.
Ради государя вам должно умереть.
Вы опора христианства, не дай Бог ему упасть!
Теперь вы видите: битва на носу.
Сарацины так близко, что можно глаз уколоть.
Сознавайтесь в грехах погромче, просите милости
Божьей!

А уж я отпущу вас — не пропадать же вашим душам
Если вы умрете — попадете в святые мученики,
Поставят для вас троны в наилучшем месте рая».
Французы спешили, сходят на землю.
Подает им епископ благословенье Божие,
В искупленье грехов советует сражаться.

Французы выровнялись, стали крепко на ноги,
Начисто отпущены, очистились от грехов.
Божью благодать им епископ шлет.
Потом влезают на лошадей сильных и быстрых,

Вооружены по всем правилам рыцарства
И к битве по всем правилам приготовлены.
Князь Роланд молвит к Оливье:
«Государь мой товарищ, вы говорите правильно,
Присудил нас к смерти этот Ганелон.
Собака взял золота, добра и динариев —
Ужо император за нас отомстит.
Король Марсиль нашу жизнь приторговал —
Под ударами сабель он будет платить».

3

СМЕРТЬ ОЛИВЬЕ

Роланд заглянул в лицо Оливье:
Как тот осунулся и посинел! —
Красною кровью истекает весь,
На землю падает крови ручей.
Князь воскликнул: «Боже, что делать мне!
Незадача вам, сир, товарищ-храбрец,
Не родился равный вам человек.
О, нежной Франции вдовый удел!
Без добрых вассалов и сыновей
Императору будет страшный вред». —
Так говоря, покачнулся в седле.

А-О-И.

Вот покачнулся в седле князь Роланд.
И Оливье от смертных ран ослаб,
Так обескровил, что слиплись глаза.
Как ни старается взглядеться вдаль —
Нет человека — нигде не видать.

Подвернулся ему товарищ в тьме —
Рубанул с плеча, самоцветный шлем
До переносья раскрыл совсем,
Но с головы его сбить не сумел.
Ошеломленный Роланд поглядел,
Спросил его вежливо, с лаской всей.
— «Вы нарочно, сир товарищ, иль нет?
Ведь я Роланд вам преданный вполне,
И вы меня не предали ничем.»
Оливье, сказал: «Слышу вашу речь,
Я не узнал вас, Господом клянусь,
Ударил вас — простите мне вину.»
Роланд ответил: — «Я зла не таю,
Здесь перед Богом это вам прощу.»
Сказав, друг другу падают на грудь,
На прощанье друга ласкает друг.

Оливье почувял смертный исход,
Как смерть по жилам в голову течет,
Зренье теряет и совсем оглох.
Слезает с лошади, на землю лег.
Кается в грехах на весь мир кругом,
Руки ладонями к небу простер,
Просится к Богу на райский порог:
«Да спасется Франция и Карлон,
Роланд да спасется первый во всем.»
Всем телом лежит на земле ничком,
Перестал князь жить, не шелохнет бровь.
Храбрый Роланд жалеет, слезы льет,
Так не убивался еще никто.

СМЕРТЬ РОЛАНДА

Роланд размахнулся в черный камень гранит.
 Так сильно размахнулся, что сказать невозможно:
 Сабля зазвенела, не ломается, не гнется —
 Вверх отскочила к небесам с силой.
 Когда увидел князь, что она крепка навеки,
 Тихонько ей жалуется, сам с собой говорит:
 «Эй, Дюрандаль, моя сабля, освященная и прекрасная,
 В золоченной твоей рукояти довольно много реликвий:
 Зуб святого Петра, капля крови Василия-мученика
 И прядка волос Дионисия, покровителя моих дней,
 И еще кусочек платья пресвятой девы Марии.
 Нет такого права, чтоб язычник тобой владел,
 Потому что ты обязана обслуживать христиан.
 Весьма много земель ты нам покорила,
 Их держит Карл, чья борода цветет, как яблоня.
 Император от них разбогател и веселится храбростью.
 Не получишь тебя человек, способный поступить низко.
 Боже, не допустите, для Франции такого урона!»

Чувствует Роланд: смерть берет верх —
 Вошла через голову ползет к сердцу вниз;
 Вскочил на резвые ноги, подбежал к высокой ели,
 На высокую траву бросился ничком.
 Положил рядом — совсем близко — и саблю и рог;
 Поворачивает голову к Испании, стране, которая
 славится.

Он неспроста так делает, а вот для чего:
 Чтобы сам Карл сказал и все его люди
 Про милого князя, что победил умирая.
 Кается в грехах скороговоркой и частой дрожью,
 Просит отпущенья у всемогущего Бога.

Чувствует Роланд — время его тает,
Лежит у входа в Испанию в глубоком рву.
Поднял руку, бьет себя в грудь:
«Господи, я грешник, призываю твою мощь
На все свои грехи, на большие и на мелочь.
С тех пор, как я родился, все дела моих рук
По сегодняшний день, как я на смерть ушиблен».
Перчатку в знак смирения снял с правой руки,
Обступили его ангелы, спустились с небес.

Князь Роланд прилег под елью отдохнуть,
К испанской стороне поворотил лицо.
Разная разность ему пришла на ум:
Различные земли, что войной он прошел,
И ласковая Франция, и весь его род,
И Карл Великий, чей вскормленник он был,
И все французы, которым он так люб.
Не может шелохнуться, ни звука проронить,
Но никак не может себя забыть.
На весь мир кричит свой грех, чтоб услышал Бог:
«Истинный отец, горящий правдой всей,
Воскресивший Лазаря, который был мертв,
И Даниила вырвавший из львиных лап —
Спаси мою душу от злых смертей,
Куда ее тащут мои грехи».
Протянул Богу перчатку, покорности знак,
И святой Гавриил у него ее взял.
К самой руке его склонил свой лик,
Руки скрестил на груди и отправился в вечный путь.
Бог его переправил в свой херувимский сонм.
И святой Михаил, возмущающий воду морей,
И Гавриил, его спутник, поспешили вместе притти.
Вынули душу из тела, доставили прямо в рай.
Роланд мертв, его душу держит Бог.

Император торопится, приходит в Ронсеваль —
Там нельзя ступить ни на одну тропинку:
Нет пустой земли ни локтя, ни аршина,
Чтоб не подвернулся француз или язычник.
Карл воскликнул: «Племянник мой, где вы?
Где архиепископ и князь Оливьер,
Где Герин и с ним Герье неразлучный,
Где князь От и князь Беранжер,
Ивон и Иворес, которых я ценю?
Куда запропастился гастонец Ангельер,
Самсон-начальник и гордый Ансеис?
Где Жирард из Русильона, что от старости дремуч,
И все двенадцать перов, к которым я привык?»
Кто мог ему ответить? — Никто рта не раскрыл!
«Боже, — сказал император, — терзаться я буду теперь,
Зачем к началу битвы я вовремя не поспел!»
Тянет себя за бороду, как в ярости человек,
Плачет слезами из глаз он и весь его круг,
Двадцать тысяч на земле распростерто в прах...
Сильно их жалеет князь Наймон...

5

Прозрачна ночь и луна сияет,
Карл лег спать, о Роланде жалеет,
Об Оливье вспомнить ему тяжело,
О двенадцати пѣрах и французской рати.
В Ронсево своих людей оставил мертвых,
Места себе не находит, все плачет.
Молит Бога, чтоб приласкал их души.
Устал король, велико его горе,
И прикурнул, заснул, не может больше.
На всех лугах теперь спят французы.
И нет коня, который стал бы стоймя

И пощипал бы травку: лежа щиплет.
Кто горе мыкал — научится много.

А-О-И.

Карл спит, как человек усталый.
Бог к нему подослал Гавриила
И велел ему стеречь государя, —
Ангел всю ночь стоял в изголовьи
И возвестил ему сонным виденьем,
Что против него готовится битва,
Предупредил его знаменьем суровым.
Карл посмотрел на вышнее небо:
Громы рокочут, гуляет ветер с градом,
Сильные грозы и чудесные бури;
Пламя горит, — огонь приготовлен.
Падает пламя на голову людям,
Копья сжигает из яблони и дуба
И все щиты с золотым украшеньем.
Вдребезги древки этих острых копий:
Скрипят кольчуги и медные шлемы.
В страшной беде свое рыцарство видит:
Съесть их хотят леопарды, медведи,
Змеи, гиены, драконы и черти,
Одних грифонов больше, чем тридцать тысяч.
Нету француза, чтоб не ластился к небу.
И кричат французы: «Шарлемань, помогите!»
Обуяла Карла и скорбь и жалость —
Собрался помочь, но ему помешали:
Огромный лев из древесной чащи —
Со всех сторон ужасен, горд и страшен.
Прыгает лев, напал на тело Карла,
Между собой у них единоборство.
И неизвестно кто кого погубит.
А государь еще не проснулся.

А-О-И.

После они видит знаменье другое:
Будто стоит на крыльце в милом Айсе
И на двойной цепочке держат дога.
От Ардени спустились тридцать медведей —
Все говорят человеческой речью.
И говорят: «Сир, отдайте нам дога,
С вами ему оставаться негоже,
К родичам нашим мы спешим на помощь».
Спрыгнул с крылечка в толпу медвежью,
И напал на медведя великана,
Самого рослого на траве зеленой.
Видит король чудесное сраженье,
А кто кого победит — неизвестно.
Это — архангел показал баронам,
А Карл спит до самой денницы.

А-О-И.

В Сарагосу бежал король Марсиль.
Под оливой спешился, в тень прилег,
Саблю снимает и шлем, и бронь,
На зеленой траве безобразно лег.
Правую руку потерял совсем,
Мучится, корчится, кровью истек.
С ним стоит жена Бранимонд,
Плачет, кричит, кривит от боли рот.
С ним тридцать тысяч из поганных орд.
Клеплют на Францию и на карлов род.
К Аполлону прибежал в грот,
Оскорбляют его, ругают, клянут:
«Эй, дрянной бог, кто причинил нам стыд,
Это наш царь, зачем его прибил?
И мы тебе по заслугам дадим.»
За руки берут, вешают на столб
И на землю бросают к ногам,

Сильно издеваются, палками бьют.
У Тервагана забрали карбункул,
И Магомета столкнули в яму —
Пусть его там кусают собаки.

А-О-И.

От сильных ран оправился Марсилий,
Перенесли его в сводчатую спальню
С камнем цветным и с росписью узорной.
Плачет над ним царица Бранимонда,
Волосы рвет, клянет свою участь,
Одно и тоже кричит, причитает:
«Эй, Сарагоса, ты теперь сиротка —
Власти лишилась милого Марсиля!
Сильно подвел нас изменник-идол:
Он допустил, что все погибли в битве.
Если хватит сердца у эмира,
С этими храбрыми он должен сразиться —
С лица они горды, не жалеют жизни.
Борода императора цветет, как яблонь,
Слуг у него много, еще больше доблесть:
Никогда не убежит с поля битвы.
Очень жалко, что его не убили.»

А-О-И.

По доброй воле могучий Карл
Семь круглых лет испанский вел поход,
Замков взял пропасть и тьму городов.
Сильно озабочен керель Марсиль,
К письмам своим печать приложил
И к Балигану послал в Вавилон —
Старый эмир и почтенный он,
Старше Вергилия и Гомера времен, —
Чтоб шел в Сарагосу на помощь барон.

Если нет, он бросит служить богам,
У всех своих идолов отнимет почет,
В христианскую веру сам перейдет,
Пред Карлом великим склонит свой лоб.
А тот далеко, ему трудно поспеть
В сорок за войском послал государств,
Верблюдов больших привезти приказал,
Много лодок и барок, и много галер.
В Александрию, корабельный порт,
Весь оснащенный согнал свой флот.
На дворе стоял май — первый теплый день.
Все войско качалось на морской волне.

А-О-И.

Огромное войско у поганных людей —
Парус крепят, направляют руль.
И на верхушках высоких мачт
Много карбункулов и фонарей:
Сверху такой разливают свет,
Что ночью море еще красивей.
И когда к испанской пристали земле,
Вся земля заискрилась от огней
И Марсиль услышал шум новостей.

А-О-И.

Нет угомону на племя язычников,
Вводят корабли в воду сладкую, пресную.
Миновали Марбросу, Марбросу проехали,
Вверх по Эбру корабли поворачивают,
Довольно на них фонарей и карбункулов,
Всю ночь от них пышет огромное полымя
Пришли они в Сарагосу.

А-О-И.

Ясный день и солнце прекрасно.
Вышел эмир из парусной барки,
За ним большая свита испанцев:
Семнадцать царей идут за ним сзади,
Князей и графов и считать не жалею.
И на лужайке посредине лагеря
На траве зеленой стелют белое полотнище,
Ставят кресло из кости слоновой.
Сел на него Балиган-язычник,
Другие не сели, ожидают стоя.
Самый главный взял слово первым:
«Слушайте, рыцари храброй породы!
Карл-государь, император французов,
Не сядет обедать без моего приказы,
По всей Испании громил меня войною —
До нежной Франции за ним я буду гнаться.
И до конца моих дней не успокоюсь,
Покуда он за меч не сможет взяться».
И колено бьет своей правой перчаткой.

А-О-И.

Когда сказал, объявились упрямыцы:
Не пойдут — посули им золотые горы,
Не пойдут с ним в Айс, где Карл решает тяжбы.
Утешают трусов и советуют люди.
Двух своих всадников вызвал эмир,
Одного — Кларифана, а другого — Кларьена:
«Вы сыновья короля Мальтраяна,
Он был всегда расторопный вестник.
Вам поручаю сходить в Сарагосу
И от меня передать Марсильону,
Что я иду к нему на подмогу.
Будет битва, если найдется место.

Златошвейную дайте ему перчатку:
Пусть примерит ее на правую руку.
И чистого золота унцию — крупицу:
Пусть узнает мстителя, узнает вассала.
Я во франкской земле изведу войной Карла,
Согну ему шею, поставлю на колени,
А не откажется от христовой веры,
Отрублю ему голову вместе с короной».
«Сир, — говорят язычники, — вы складно
говорите».

А-О-И.

Сказал Балиган: «Вот, рыцари-бароны,
Один возьмет палку, другой перчатку».
«Ласковый сир, — говорят они, — исполним».
Ехали верхом до самой Сарагосы,
Через десять ворот и мостов через сорок,
Через все улицы, где живут горожане.
Только приблизились к городу на вышке,
Слышат во дворце шум переполоха:
Сколько там было поганого сброду,
Плачут, кричат, без ума от печали
Жалеют богов — Тервагана и Магома
И Аполлона, который в ус не дует.
Один другому: «Что ждет нас, бедняжек?
Великая нас потрясла разруха,
Мы потеряли царя Марсильона —
Князь Роланд вчера отхватил ему руку.
Нет с нами Блуна и нет Журфалена,
Им бы владеть всею испанской округой.»
Вестники всходят вдвоем на крылечко.

А-О-И.

Своих лошадей привязали к оливе,
Бросили вожжи двум сарацинам
И под плащем несут письма и вещи.
Дальше идут на дворцовую вышку.
Выходят в комнату с каменным сводом,
Вежливо передают поклон поганым:
«Пусть Магомет, наш помощник в битве,
И Тервага с Аполлоном-сиром
Спасут государя и королеву!»
Говорит Брамимонда: «Слышу речь безумцев!
Наши боги на нас работать устали,
В Ронсево они совсем сплеховали,
Допустили убийство всадников наших,
Они подвели моего господина:
Кисть правой руки потерял: стал калекой.
Так рубанул его Роланд богатый.
Вся Испания будет вотчиной Карла.
Куда теперь денусь, в слезах, бедняжка?
Хоть бы кто горемычную прикончил!»

А-О-И.

«Госпожа, успокойтесь!, — сказал Кларьен, —
Нас к тебе прислал язычник Балиган, —
Пусть, говорит, не боится Марсильон —
Палку ему и перчатку прислал.
Но Эбре у нас пять тысяч барж стоит,
Лодочек, барок и разных галер;
С высокой кормой кораблей не счесть.
Наш адмирал богат и могуч —
Карла отыщет на франкских полях,
Живым или мертвым надеется взять».
Бранимунд в ответ: «Худой он выбрал час:
Французы недалеко — их не трудно сыскать;
Император могуч и сердцем храбр.»

Император вернулся из испанского похода.
 Возвратился в Айс — лучший французский город.
 Входит во дворец, вошел в жилые покои.
 Пришла к нему Альда, открывает рот,
 Говорит государю: «Где Роланд — вождь,
 Тот, что поклялся, что замуж меня берет?»
 Слышит Карл — у него в горле пересохло,
 Плачет слезами из глаз, щиплет свою бороду:
 «Сестра моя дорогая, ты спросила о мертвом.
 За него ты получишь выкуп хороший:
 Лучшее что есть во Франции — Хлодвига,
 От милой жены дитя мое родное.
 Он будет наследник всех моих угодий».
 Альда отвечает: «Странное вы молвили слово,
 Богу и святым ангелам не угодно,
 Чтоб я осталась жить, если нет Роланда живого».
 Закачалась, побледнела, как полотно суровое,
 Сразу умерла, Бог помилует душу новую!
 Бароны Франции плачут — опустили головы.

Прекрасная Альда нашла свою смерть.
 Думает государь — с ней обморок, не хочет верить,
 От жалости плачет император бедный,
 Берет ее за руки, подымает как следует,
 Голову к плечам своим прислонил напоследок.
 Когда увидел Карл, что это смерти дело,
 Четырех княгинь вызвал, велел стеречь ее тело.
 Велел монахиням в монастырь ее перенести.
 Стерegli ее всю ночь, вплоть до рассвета,
 Погребли прекрасно, в алтарном месте:
 Не поскупился император — оказал ей много чести.

552. ПАЛОМНИЧЕСТВО КАРЛА ВЕЛИКОГО В ИЕРУСАЛИМ И КОНСТАНТИНОПОЛЬ

(отрывки)

1

Переплыли воду реки Лалис,
Едут верхами вдоль страстной земли.
Видят: древний город Ерусалим.
День был прекрасен, к привалу пришли,
В монастырь явились дары сложить
И на ночлег гордецы разошлись.

Приготовил Карл чудные дары.
В сводчатый цветной пришел монастырь.
Там стоит алтарь: Отче наш святой,
Здесь апостолам Бог читал псалтырь.
Здесь двенадцать кафедр еще видны,
Тринадцатый трон — пуст, заперт на ключ.
Карл туда вошел, от радости ликует,
Как увидел кафедру, к ней подошел вплотную.
Сел император чуть-чуть отдохнуть.
Двенадцать пэров кольцом стали вокруг:
Здесь еще никто сидеть не дерзнул.
Карл поднял голову светел лицом.
На него взглянув, иудей вошел.
Взглянул на Карла — дрожь его берет,
Глядеть боится: слишком горд Карлон,
Чуть не споткнулся и выбежал вон.
По мраморной лестнице входит в дом,
Вошел к патриарху и речь повел:
«Идем в монастырь, готовьте купель,
Хочу креститься как можно скорей!
Вошли в монастырь двенадцать князей

С ним тринадцатый — всех красивей:
Сам, господь Бог, как я уразумел.
Господь с дюжиной апостолов всей.»
Услышал — ризу надел патриарх,
В белых стихарях клириков позвал,
Рясы, клобуки одеть приказал.
С пышным клиром к Карлу выходит сам.
Ему навстречу государь Карлон
Снял корону и наклонил свой лоб.
Облобызались, ведут разговор.
Сказал патриарх: — «Вы откуда, сир?
В мой монастырь никто не смел входить,
Разве я кого прикажу впустить.»
— «Сир, я зовусь Карл из франкской земли,
Дюжину царей к себе приманил,
Бога любя, пришел в Ерусалим, —
Крест и гробницу я пришел почтить.»
Патриарх ответил: — «Вы, сир, храбрец, —
Сядьте на кафедру, где Бог сидел,
Карлом Великим нарекайтесь днесь.»
Карл ответил: «Велик Бог пятьсот раз!
Честных реликвий нельзя ли мне дать?
Я бы их французам там показал.»
Патриарх ответил: «Берите хоть горсть.
Симеона руку берите вот,
Я пошлю за Лазаря головой
И Степана-мученика дам кровь.»
Карл благодарит, отвесил поклон.

Фрданцузам в палатах стелют постель —
Двенадцать пэров устроились все.
Гуг-сильный велел им вина принесть.
Он силен, лукав, во зле закоснел.
В сводчатом зале в мраморном столбе

В головах у пэров Втируша сел,
В скважину за ними всю ночь глядел.
Свет от карбункула нельзя светлей,
И все было видно, как в майский день.
Гуг-король сильный уходит к жене,
А Карл и франки легли на ночлег:
Сейчас начнется бахвальство князей.

2

Государь, великий Карл, сказал:

«Моя похвальба впереди других.

Пусть выберет человека сильный король Гуг
Из всей своей челяди, чтоб был крепок и могуч,
Пусть напялит на себя две кольчуги и два закрытых
шлема

И сядет на коня тонконового, как ветер, —

И пусть король мне одолжит саблю с рукоятью
золотой резьбы, —

Я порублю оба шлема, там где ярче всего их блеск,
Пополам розобью кольчуги и шлемы с россыпью
заморских камней,

И седло с загривком тоже разрублю пополам.

Саблю загоню в землю и, если не выдерну сам,
Ни один человек из костей и мяса ее не вызволит вновь,
Пока не разроет землю в меру длины копья».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — Вы
могучи и крепко сложены.

Король Гуг поступил безумно, допустив вас под
свой кров.

Если я еще услышу этой ночью ваш дикий бред,
Завтра утром, чуть свет забрежит, я вас
выпровожу вон».

И опять говорит император: «Похваляйтесь,
племянник Роланд.»

Роланд отвечает: «Охотно, государь, если есть
ваш приказ.

Попросите вы Гугона одолжить мне Олифант.
Я из города выйду в поле, стану посреди лугов.
Столько воздуха я выдую, такой ветер зашумит,
Что во всем этом городе — а он весьма велик —
Не останется ни ставенки, ни дверцы на петле,
Будь хоть медная литая, не в пример другим прочна,
Чтобы ветер не подхватил ее, не хлопнул одну к другой.
Я скажу: силен король Гуг, если он тогда устоит
И усов не потеряет, опалив их на огне.
А когда волчком завертится — с шеи лисий мех,
А когда совсем споткнется — горностаевый мех с плеч».
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — мне
не нравится эта похвальба.

Король Гуг поступил, как безумный допустив
его под свой кров».

«Государь Оливьер, похваляйтесь», — говорит
вежливый Роланд.

Князь Оливье отвечает: «Охотно, лишь бы только
Карл мне разрешил».

«А вы государь епископ, не хотите ль загнать
похвальбу?»

Турпин ответит: «Конечно, если воля Карла такова.
Пусть из своих конюшен выберет завтра король
Трех скакунов наилучших, выпустить в поле гулять.
Справа за ними я буду бежать и, на полном ходу
Пока не вскочу на среднюю лошадь, двух
других не коснусь.

Крупных четыре яблока я зажму в кулак, —
С руки на руку буду их перебрасывать и ловить,

Представив моей лошади свободу и самый
быстрый ход.
Если же хоть одно яблоко выскользнет из моей руки,
Карл, государь великий, пусть плюет мне железом
в глаза».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — эта
похвальба совсем хороша;
Не содержит ничего обидного для господина
моего короля».

Говорит Вильгельм из Оранжа: «Господа, дайте
мне хвастнуть.
Видите этот шар, огромное его не бывает, —
Сколько ушло на него золота, сколько наверхено
серебра!
Сдвинуть с места его бились, бывало, тридцать
человек,
Ничего не могли поделаться: такая тяжелая кладь.
Подыму его рано утром одной рукой,
А потом его выкачу на середину дворца
И в стене сделаю пробоину в сорок локтей».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — вам
верить нельзя.
Король Гуг поступил безумно, отказавшись
вас испытать.
Раньше, чем вы обуетесь, утром ему шепну».

И еще говорит император: «Пусть хорохорится Ожье,
Князь из Данемарка, мастер трудных дел».

«Хорошо, — сказал храбрый, — я вашу службу несущу.
Этот могучий свод колонны поддерживает весь дворец.
Ныне утром он так забавно вертелся вместе
с дворцом.
Завтра он будет трещать в моих могучих руках.
Затрещит столб могучий, упадет навзничь,
Зашатается дворец вместе с ним рухнет.

Подвернутся людишки — им не сдобровать.
Король Гугон будет глуп, если не спрячется в угол».
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — этот
человек объелся белены.

Да не допустит Господь исполненья такой похвальбы!»

Говорит император: «Князь Наймон, похвалитесь
как следует.»

«Хорошо, — отвечает храбрый. — Я мастью сед.
Пусть мне подаст Гугон свою кольчугу темной меди.
Завтра, как получу, сейчас же ее одену:

Я так отряхнусь и сзади и спереди,
Что будь эта кольчуга из белой иль черной меди,
Все равно, — как солома разлезутся ее петли».

«Клянусь Богом, — сказал Втируша, — вы стары
и седы,

Шерсть ваша белая, а мышцы для победы».

Император сказал: «Беранжер, вам тоже
нужно хвастнуть».

«Если есть на то ваша воля, — Беранжер
отвечает, — пусть.

Король может собрать сабли всех своих рыцарей
в горсть.

По самое горло из золота в глубокую землю врыть,
Чтоб в небо глядели щетиною одни лезвия вверх.
На верхний пролет башни я подымусь пеш,
И прямо на их сабли с высоты налечу, как смерч.
Рукояти погнутся, сабли рассыпятся вдребезги в сор,
Друг друга изрубят сабли, клинок зазубрит клинок.
Ни одна меня не поранит, я встану свеж и здоров:
Ни царапины, ни раны не увидите ничего!»

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — человек
объелся белены.

Если правду говорить, как железо его плоть закалена».

И еще говорит император: «Теперь похваляйтесь,
Бернардс».

Князь отвечает: «Охотно, если есть на то ваш приказ.
Слышите этой обширной воды в берегах шум?
Завтре ее до капли выплесну из берегов,
Выведу на луговины у вас у всех на глазах,
Затоплю все подвалы, сколько их в городе есть.
Вымочу людей Гугона, пополощу их в воде,
На самую высокую башню самого заставлю влезть.
Он не раньше сползет на землю, чем я скажу
ему: «слезь».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — этот человек
одержим.

Король Гуг поступил безумно, сделал его гостем своим». Князь Бертран говорит: «Пусть хвалится мой дядя». Эрно из Жиронды сказал: «Я готов святой Троицы
ради.

Пусть возьмет король Гуг свинца четыре клады,
Вольет в один котел, растопит и расплавит.
Глубокое корыто велит поставить на пол.
Наполним до краев свинцовой жидкой лавой.
До девятого часа в нем я просижу, как сяду.
Когда, покрывшись коркой, затвердеет свинец,
Хорошенько осядет, я выйду из сплава
И свинец разломаю, как ни в чем не бывало.
Не прилипнет ко мне на Божию коровку ни
осколка сплава».

«Вот это похвальба! — говорит Втируша. —
Никогда не слышал о таких толстокожих —
Если он не врет, у него железная кожа».

Говорит император: «Похваляйтесь теперь вы,
сударь Аймер».

Аймер отвечает: «Охотно, если есть на то ваш приказ.
Есть у меня шапочка алеманского шитья.

Подбитая мехом заморской рыбы большой.
Когда я нахлобучу эту шапочку на свой лоб
И Гуг проголодавшись обедать сядет за стол,
Я съем всю его рыбу и светлый выпью кларет.
А потом размахнусь сзади и тресну его по голове,
Так тресну, что от боли он полезет под стол.
Тогда я вырву бороды и выщиплю всем усы».
«Клянусь Богом, — сказал Втируша, — этот человек
сошел с ума,
Король Гуг поступил, как безумный, допустив его
под свой кров».
«Сударь Бертран, похваляйтесь», — император говорит.
Князь отвечает: «Охотно, приятно вам послужить.
Принесите мне завтра утром два хороших
крепких щита.
Я выйду за город, в поле на старинный взберусь холм.
Там щиты я столкну вместе, в воздухе их потрясу,
Высоко их вверх подброшу, подыму такой
громкий вопль,
Что во всей окружной местности на четыре лье кругом
Все олени испугаются, разбегутся серны в лесах,
Неостанется нигде ни косули, ни лисицы,
ни дикой козы».
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — мне не
нравится эта похвальба.
Это может не на шутку огорчить моего короля».
«Похваляйтесь, сударь Герин», — говорит
император Карл.
Князь отвечает: «Охотно. Завтра на людях
Принесите мне крепкое, годное к метанью копьё.
Пусть будет большое и неуклюжее, подстать
разве мужичью.
Древко длинной с яблоню, железный наконечник
в сажень».

Когда слова шальные про меня говорил.
А я вчера в палату каменную пустил их ночевать!
Если завтра же не распутают похвальбы, что
ночью сплели,
Я снесу им всем головы мечом-колдуном!»

553. КОРОНОВАНИЕ ЛЮДОВИКА

(отрывок)

Не хотите ль, господа бароны, извлечь хороший урок
Из прекрасной складной песни, приятной на слух?
Когда Господь назначил девяносто девять царств,
Нежнейшее внимание он Франции подарил —
Лучший из государей носит имя — Карл,
Он Францию взял в руки и поднял выше всех.
И все другие земли к его державе льнут:
И баварская марка и алеманский круг.
Французские уделы Норман, Анжу, Бретань,
Ломбардское княжество и с Новарой Тоскань.
Царь, что носит корону французской земли,
Должен быть сердцем весел и в решеньях мудр.
Кто с ним поступит дурно, обидчик или тать,
Пушай он рыщет в роце, пусть убегает в гать,
Все равно будет пойман, живым иль мертвым взят.
Легко теряет Францию неотмщенный король, —
Так говорит преданье — он коронован зря!
Когда коронованье в Айсе пропел клир
И вывели из камня готовый монастырь,
Там двор образовался на весь христианский мир,
Во дворе дежурят графы, четырнадцать человек
И жалобщики ходят — бедных людишек тьма;
Всем проясняют дело и разбирают спор.

Не жалуется правый, виноватый молчит.
Вот была справедливость! Теперь такой уж нет:
Взятка решает дело и окривел судья.
Бог — человек мудрый, он нас судит и пасет,
Из-за него мы пачкаемся в грязном аду,
В этой зловонной яме, откуда нельзя уйти.
В этот день служили согласно восемнадцать епископов,
В этот день служили дружно восемнадцать
архиепископов,

Сам римский апостол обедню пел.
В этот день была служба такая сладкая и пышная,
Что другой такой службы во Франции не слышали,
Кто ее слышал, долго потом рассказывал.
В этот день служили согласно двадцать шесть
священников,

При том были четыре короля коронованных.
В этот день величали Людовика,
На алтаре корону приготовили, —
Император отец венчал свою кровь.
По лесенке на кафедру архиепископ влез,
Произнес проповедь на французском языке.
Он говорил: «Бароны, откройте мне ваш слух,
Наш государь великий, Карл, совсем одряхлел:
Бремя светской жизни ему не по душе,
И тяжела корона на его голове.
Есть у него сын — ему корона впору.»
Все развеселились, услышав такую радость,
Руки подняли к небу, где сияет Бог.
«Отец небесной славы! Тебя благодарим,
За то, что чужестранец к нам не придет владеть.
Наш император вызвал сына — ему корона впору!»
«Сын мой прекрасный, откройте мне ваш слух,
Взгляните на корону, что лежит на алтаре.
Не взяв с вас обещания, как вам ее отдать?»

Бегите грехов плотских и всех прочих грехов.
Не утесняйте гневом и предательством людей.
Что у сирот осталось, храните, как свой глаз
Так угодишь ты Богу, меня развеселишь, —
Возьми мою корону и венчайся сейчас.
Если же вы не согласны, короны вам не видать,
И я вам запрещаю притрагиваться к ней!
Людовик, сын мой милый, на корону взгляни:
Хочешь быть императором всей римской земли?
Уведешь с собой войско в тысячу сто человек,
Перейдешь Жиронду-воду насильно и вброд,
Язычников рассеешь — неприятный народ!
Их поганую землю к рукам приберешь...
Если это вам нравится, хватай корону — бери,
А не нравится, не дам, не на кого пенять.
Незаконных поборов, сын, с людей не бери,
Избегай всех излишеств и дурных страстей,
Грехов роскошных плоти и худых затей.
Защити ребеночка от наследников злых
И вдовицы бедной четыре гроша.
Если хочешь в иисусовой короне ходить,
Сын мой Людовик, ты должен ей служить.»
Слушает ребеночек, не смеет шагу ступить,
Пожилые рыцари за него плачут навзрыд,
Император же гневается, сердце его кипит.
— «Меня околпачили, горе мне — увы!
Видно с женой моей лежал негодяй,
Когда этот выродок был ими зачат.
Для такого в жизнь мою пальцем не шелохну!
С таким императором связываться грех!
Остричь ему волосы на маковке все,
Запереть урода в этот монастырь,
Пускай доит колокол и будет пономарем,
Десятиной прокормится, с голоду не умрет!» —

Стоял близ императора из Арля Ансеис,
Упрямец и строптивец, не в меру самолюбив.
Сладкоречивой хитростью он Карла с толку сбил:
«Справедливый император, полно вам бұшевать,
Молодой государь еще молод, что такое пятнадцать
лет?»

Ребенка сделайте рыцарем, он со страху умрет.
Это дело перемелется — поручите его мне:
За три года все изменится, много воды утечет,
Он оправится, он выравняется, станет рыцарь и муж.
Буду я за ним присматривать, а потом приведу к вам.
Округлю его земли тем временем, увеличу его доход». «Это дело подходящее», — император говорит.
Рассыпаются в благодарности злоязычники-шептуны,
Ансеиса из Арля родственники поднимают радостный
шум.

Однажды к императору хочет притти Вильгельм,
Он в лесах охотился, с рогом зверя травил.
Бертран племянник маленький за стремени бегит,
Задыхается, лепечет, хочет много сказать:
«Государь мой дядя, не понравился мне монастырь:
Там людей обижают злоязычники-шептуны,
Там морочит наследника опекун Анесис.
А потом французы скажут: «Император виноват.»
«Император промахнулся», — сказал гордый
Вильгельм,

Нацепил на пояс саблю и пошел в монастырь сам,
Растолкал зевак праздных, там в густой толчее
Похвально перед всадниками нарядный Ансеис.
Сгоряча обезглавить Ансеиса он хотел,
Но удержался немного, вспомнил кротость Отца небес:
Душе бессмертной вреден человекоубийства грех!
Сильно отдернул саблю, с шумом вложил в ножны
И пошел на Ансеиса, саблю вложив в ножны.

Опустил ему на темя тяжесть левой руки,
Опрокинул навзничь так, что хрустнули позвонки.
Позвоночник — столб жизни без намеренья сломал.
Мертвого на землю бросил, прямо к своим ногам,
Заметил, что тот не дышит, начинает его корить:
«Ах разбойник, ах жадина, разрази тебя Божий гром,
Ты зачем огорчал господина, клевал его зерно?
Ты бы должен его лелеять и ночью и днем,
Округлить его земли, увеличить его добро.
На полушку не разживешься от своих темных дел.
Я тебя только немножко хотел поучить,
А ты взял и совсем умер, не получишь ни гроша!»
К алтарю оборотился, где корона лежит,
Подошел к Луи ребенку, его короновал:
«Носите на здоровье, дитя мое государь,
Бог научит вас дела людские справедливо вершить»
На сына веселится император отец:
«Большое вам спасибо, государь Вильгельм.
Давайте породнимся, соединим наш род.
Сын мой прекрасный, сир Лоуис,
Возьми мою державу и царский скипетр.
Исполнить обещанье свое потрудись:
От жадных наследников ребеночка беречь
И вдовицы бедной четыре гроша.
Церкви нашей матери будь верный друг,
Чтобы не забрал вас в лапы дьявол, наш враг.
Еще держите в почести свой рыцарский круг
Он тебя поддержит тысячью услуг.
Всеми ты будешь дорог, всем ты будешь мил!»

554. БЕРТА — БОЛЬШАЯ НОГА

В исходе апреля был ясный день,
Трава пробивалась, луг зеленел,
Деревцам хотелось листья надеть.
В эту пору, как известно мне,
В граде Париже был пятничный день.
Ради этой пятницы я решил
В Божий храм отправиться, в Сен-Дени,
Там монах был вежливый — Савари.
Он, спасибо Богу, мне угодил;
Показал и дал мне прочесть из книг
Историю Берты, Пепина стих,
Как львиный прыжок мог произойти.
Темный писец и жонглер ученик
Все переврали, не понять ни зги.
Там я до вторника остался жить,
Чтобы всю повесть с собой прихватить:
Как Берта в лес пошла одна бродить
И натерпелася страстей каких.
Так рифмы сплел, клянусь жизнью души,
Что непонятливый получит шиш,
Кто с пониманьем — отблагодарит.

Госпожа в лесу и плачет навзрыд.
Воют гиены и рыкают львы,
Громы гремят и молнии видны.
Дождь лил, как из ведра и ветер был.
Кличет святителей, Бога зовет:
— «Сир, — говорит она, — я помню все,
От девы родились вы под звездой,
Три царя к вам пришли, спасется тот,
Кто в черный день назовет трех волхвов.
Тот, кто принес мирру был Мельхиор,

Благовенье принес Гаспар, другой,
Третий был Бальтазар, с золотом волхв,
На коленях слушали ваши слова.
Тут все несомненно, и Божья власть,
Спаси бедняжку, что сойдет с ума».
Сказав молитву, закуталась в плащ
И вручив себя Богу в лес пошла.
В лесу бродит дама, чей страх велик,
Что мудреного, если сердце болит?
Кто знает куда ведут?
Налево, направо часто глядит.
И вперед, и назад — отдохнет миг,
Станет на месте начнет нежный плач.
На голых коленках к земле припав,
Руки накрест, лежит на ложе трав,
И землю целуют ее уста.
Поднялась, тяжело вздохнула она,
Бланшефлор жалеет, царицу-мать.
«Как я мучусь — ты бы умерла!»
И к Создателю, руки протянув:
— «Сир, с вашего трона, вам видно.
Вы пошлите за мной в лесную глушь,
Ваша нежная мать меня сыщет пусть,
Чтоб моя плоть не досталась врагу.»
Пальцы ломает, не жалеет рук,
Зовет Божью мать, льнет к Богу-отцу.

Вечером даме — убогий ночлег:
Нет высокой спальни и крыши нет,
В головах нет подушки, негде лечь,
Нет дам — нет служанок, нет людей,
Нет ковра-одеяла, тело греть.
Разразилась слезами в темноте:
Ночь, ты длинна, я не верю тебе,

И все равно, когда настанет день,
Я опять заплутаю без путей:
Довольно причин волноваться мне.
Не миновать одной из трех вещей:
Или замерзну, иль жаждой умру,
Или меня до рассвета сожрут,
Хотя моя плоть — незавидный кус.
Сыну скажи, Божья мать, своему,
Что с ним в беде совет держать хочу.
Мне одной, Госпожа, немоготу.
На коленях целует земной луг:
Святой Юлиан, мне помощник будь.
Для Отче Наш не пожалела уст.
На правый бок примостилась уснуть,
Крестом укрывается, льнет к Отцу.
Спит, вся в слезах, Бог спасет как-нибудь.

555-557. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПЕСЕНКИ

555.

I

Правлю я честью
Трудное дело;
Вольно и смело
Дышит рыбак.

Невода петли
Крепко связала,
Заколдовала
Жажда любви.

Радуги арка
Ярко зажглась,
Милой в подарок
Рыба нашлась.

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла волна.

II

На поворотах
Лодка послушна,
Твердо направлен
Легкий разбег.

Хочешь на веслах,
Хочешь под парус,
Неукротимый
Плавает челн.

В омуте синем
Розовый бал,
Лишь бы почина
Я не проспал.

Ах, как увертилва
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

III

Плавится в небе
Медленный полдень,
В солнечных стрелах
Искрится зыбь.

Вечером весла
Тяжесть теряют,
Дремлет Кияйя
Спит Позилипш.

Падают звезды
Море шумит,
Весь чешуею
Невод кипит.

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

IV

Я снаряжаю
Длинну полесу
Хитрой приманкой
Цепким крючком.

Рыбы глотают
Воздух подводный,
Жабрами дышат,
Бьют плавники.

И просияет
Бедный рыбак,
Чудо! Удача!
Рыба — судьба!

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

V

Я пробегаю
Взморья лазорье,
Якорь кидаю
В темной воде.

Море синее
Неба в апреле,
Нежной макрели
Нету нигде.

Трудно рыбачить —
Сердце не плачь,
Близится время
Новых удач.

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

556. НИНА ИЗ СОРЕНТО

1.

На гулянье в Пьедихотта
Посмотреть она решилась.
Ты явилась в лучшем платье
Мое счастье и проклятье.
Как послушна маме дочка —
Вся в оборочках, в кружочках.
Из Сорренто эта лента,
Эти черные глаза.
Здравствуй, Нина из Сорренто, —
Повторяют голоса.

2.

Закатился свет удачи,
Крови нет в моем загаре.
Спотыкаюсь, как незрячий
Не играю на гитаре.
Нет, ни ветер, сердца ярость
Раздувает скромный парус.
Не берет меня пучина —
Солоней слеза моя
А в Сорренто злая Нина
Ускользает от меня.

3.

А когда залив спокоен
Я боюсь его прогневать:
Под затишье роковое
Я с кормы гляжу на невод
И в прозрачности зеленой

И в пучине разъяренной —
Черных кружев паутина,
Лента красная плывет.
А в Сорренто злая Нина
Не узнает, не поймет.

4.

В пестрой ракушке улитка
Равнодушна поневоле.
Глухи розовые уши.
Не дождусь счастливой доли.
Закружился мрак воздушный
Гонит тучи ветер южный.
Содрогается пучина,
Опрокинулась ладья.
А в Сорренто злая Нина —
Уверяет: я ничья.

557. КАНАТЕЛЛА

1.

Умоляю, Канателла,
Чернобровая, будь скромней!
Мне смертельно надоела
Толчея молодых людей.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смиренней!

2 раза

2.

Веер карт различной масти —
Вереница разных лиц. 2 раза
Нет спасенья от напасти:
Слишком много в клетке птиц.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

3.

Ты притопнешь, вскинешь бровью:
Что случилось? Пустяки! 2 раза
Я терпенье длил воловье,
Ревность сжала мне виски.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

4.

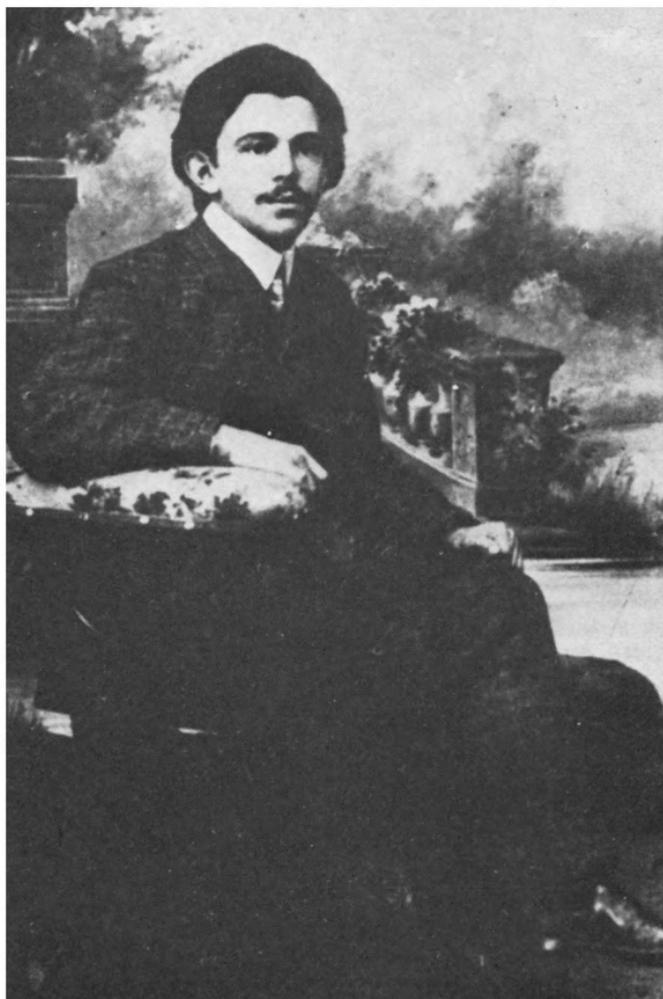
Сговоримся, друг мятежный,
Жемчуг мой — мой острый нож: 2 раза
Отточи свой выбор нежный
Иль на кровь меня толкнешь.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

Воронеж, лето 1935.

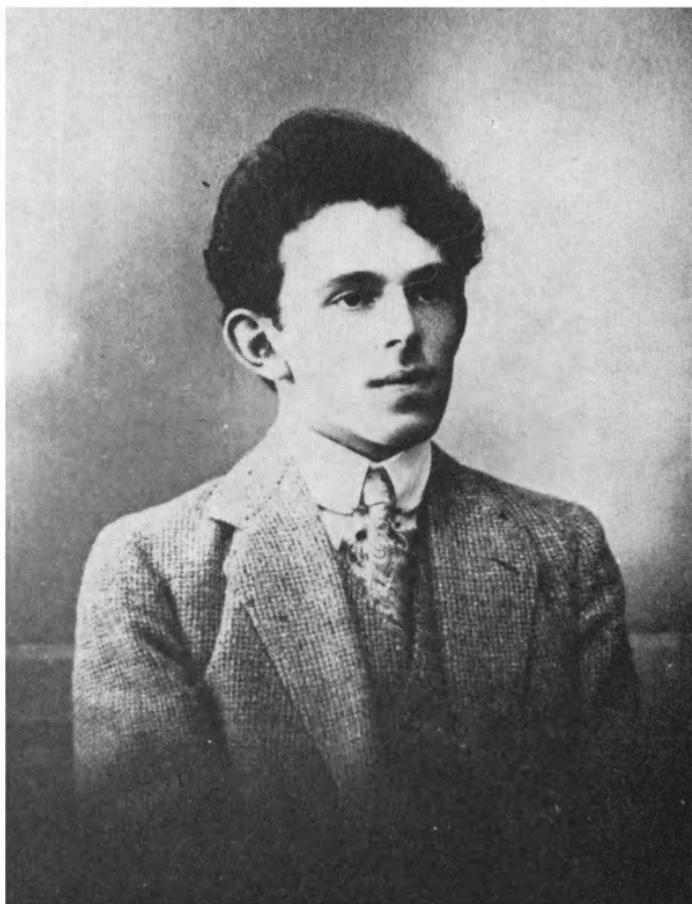
Альбом фотографий



Около 1897 г., Царское Село



Около 1908 г., Петербург

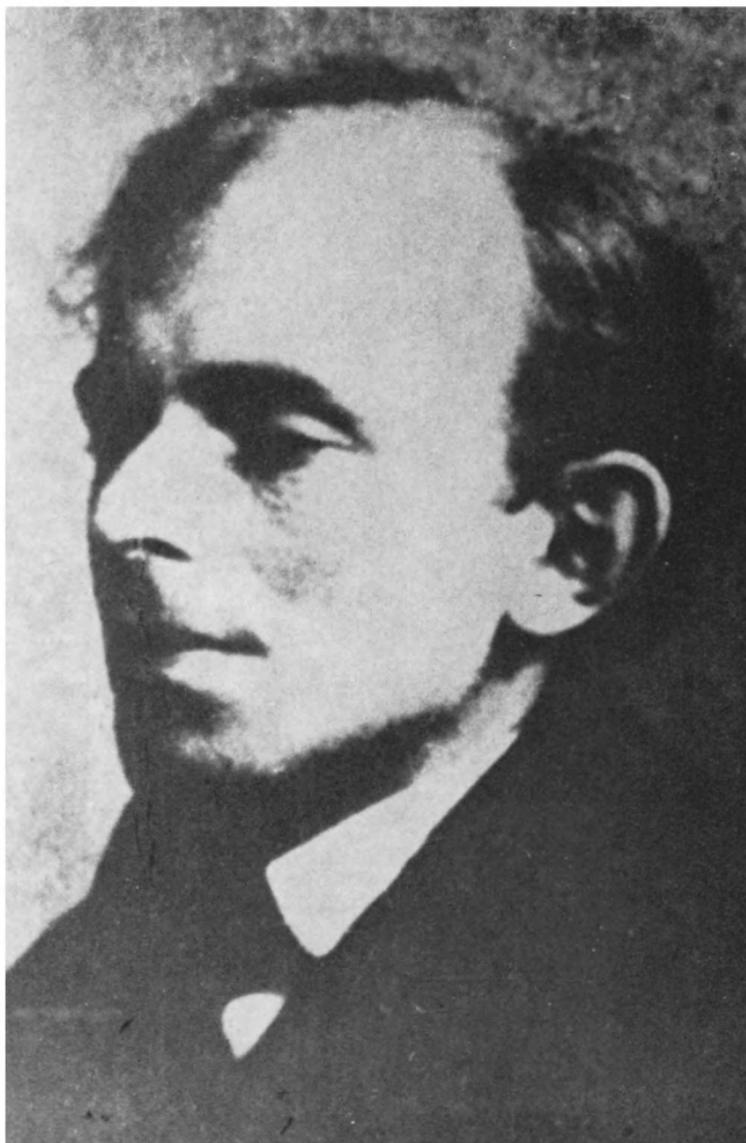


1912 г.



Силуэт

(рисунок Э. Кругликовой)



Из групповой фотографии, 1919 г.



Н. Я. Мандельштам (Хазина), 20-ые годы



Около 1929 г.

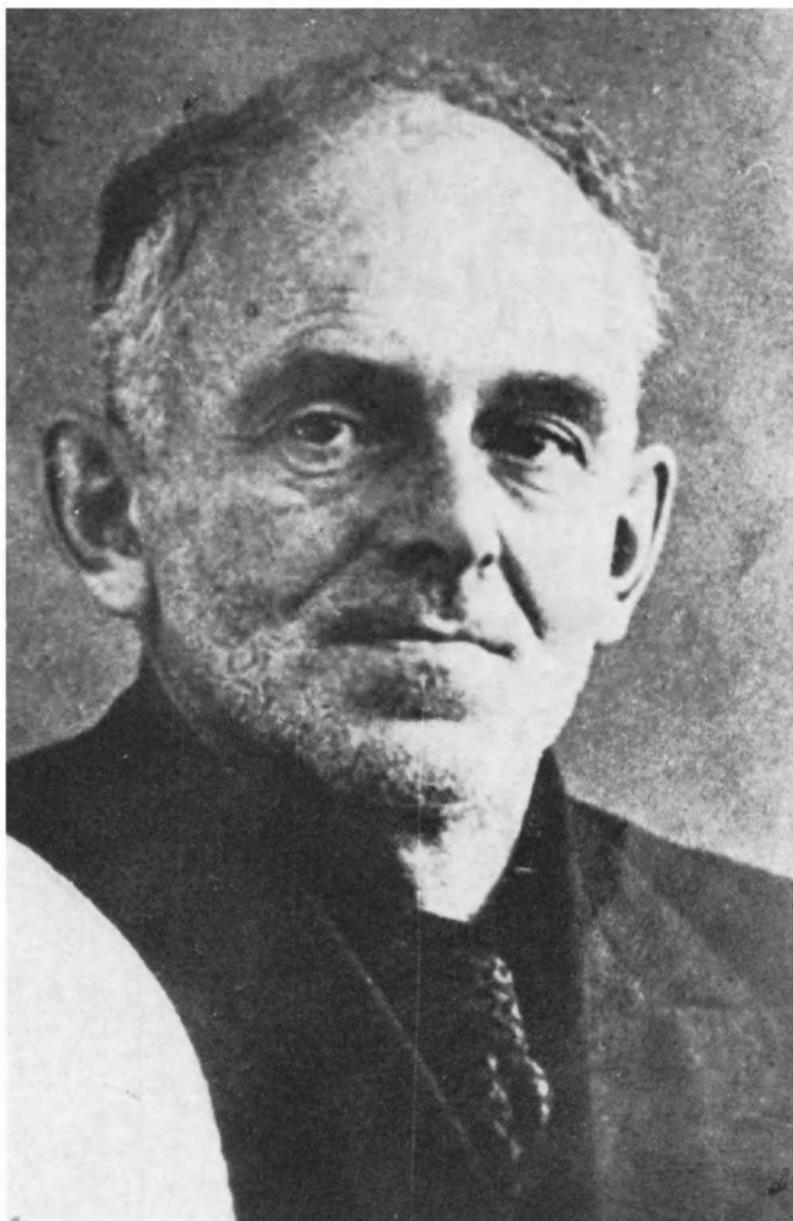
(фот. Нантельбаума)

VIII

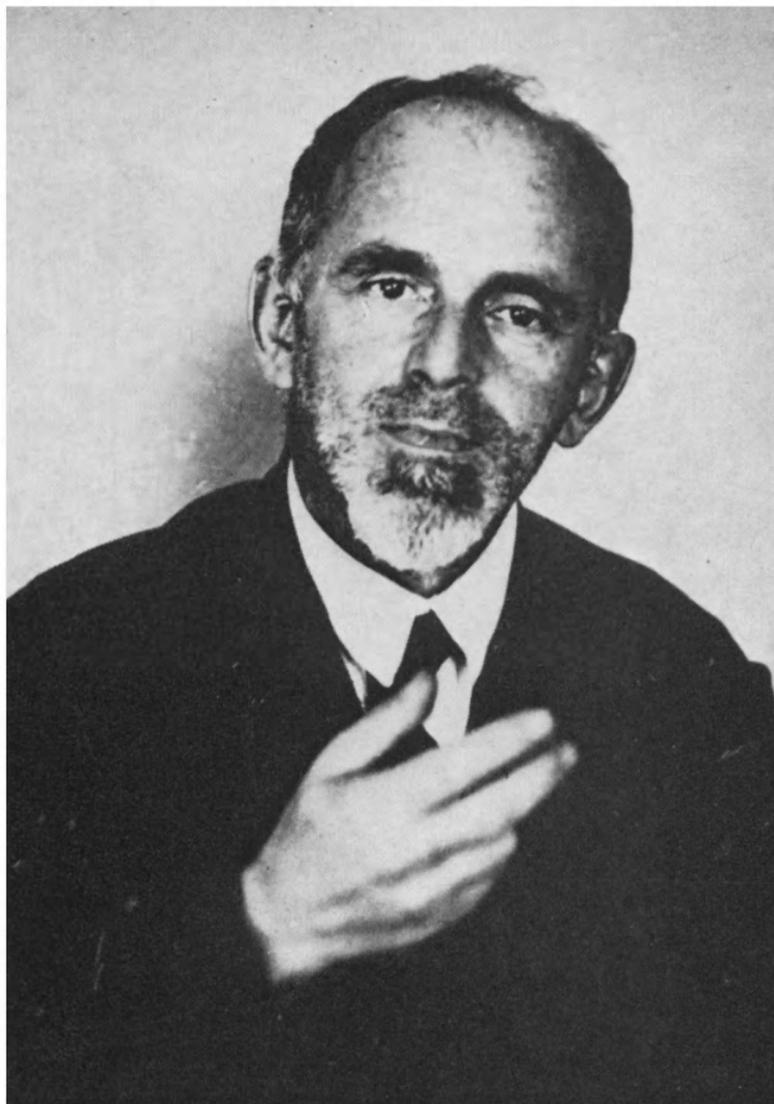


Около 1929 г.

(фот. Наттельбаума)



Середина 30-х годов



1933 г.



Н. Мандельштам, апрель 1970
(1899-1980)

(11)

Ибо если в жизни смысла нет
Говорить о жизни нам не след.
Я еще довольно сердцем дик
Скучен мне понятный наш язык.

(48) АДМИРАЛТЕЙСТВО

Живая линия меняется как лебедь
Я с музой зодчего беседую опять.
Взор омывается, стихает жизни трепет, —
Мне все равно, когда и где существовать!

(181) РЕЙМС И КЕЛЬН

Шатались башни, колокол звучал —
Друг горожан, окрестностей отграда,
Епископ все молитвы прочитал,
И рухнула священная громада.

Здесь нужен Рóланд, чтоб трубить из рога,
Пока не разорвется олифан.
Нельзя судить бессмысленный таран
Или германцев, позабывших Бога.

(501)

Как будто хрупких тел томленье
И глянец тусклых вод — мое
До боли острое мгновенье
И неживое бытие.

(74) АББАТ

Переменилось все земное,
И лишь не сбросила земля
Сутану римского покроя
И ваше золото, поля.
И самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет, —
Ведь католический священник
Ему советы подает!

Священник слышит пенье птичьё
И всякую живую весть.
Питает все его величье
Сияющей тонзуры честь.
Свет дивный от нее исходит,
Когда он вечером идет
Иль по утрам на рынке бродит
И милостыню подает.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
А в толщь унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!

Там каноническое счастье.
Как солнце, стало на зенит,
И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.

О жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь свою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!

(82) ФЕДРА

- Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела среди моего позора!
- Собирается в Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда.
Вот она: какие речи
И какой ужасный вид!
Избегает с нею встречи,
Чую правду, Исполит.
- О если б ненависть в груди моей кипела —
Но видите — само признание с уст слетело.
Черным факелом среди белого дня
К Ипполиту любовью Федра зажглась
И сама погибла, сына виня,
У старой кормилицы участь.
Позабыла свой род и царский сан,
Возвела на юношу неправды тень,
Заманила охотника в капкан
По тебе будут плакать леса, олень!
- Любовью черною я солнце запятнала,
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала.
- Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.

Уязвленная Тезеем
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.

13 окт. 1915

(107)

Как пахнут тополя — мы пьяны
Когда качается земля,
Не ради смуты мы смутьяны
На черной площади Кремля.

Соборов восковые лики
Спят, и разбойничать привык
Без голоса Иван Великий,
Как виселица, прям и дик.

А в запечатленных соборах
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский собор — виденье,
Успенский — если хочешь, тронь!
И всюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

апрель 1916, Москва

(266)

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
У стихотворца Христиана Клейста.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И княжества топталися на месте.

Война — как плющ в беседке шоколадной,
И далека пока еще от Рейна
Косматая казацкая папаха.

И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошел и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

8 августа 1932.

(338)

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов.
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Или Цны — реки обычной
Белый, белый, бел-покров?

Или я в полях совхозных —
Воздух в рот и жизнь берет,

Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон.

Анна, Россошь и Гремячье —
Процветут их имена, —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна...

декабрь 1936.

(13)

Пусть за стеною, в дымке блеклой
Сухой, сухой, сухой мороз —
Слетит веселый рой на стекла
Алмазных, блестящих стрекоз.

Зима 1910

(503)

Юдольной жизнью не дорожи художник,
Росою бытия печаль свою считай.

(175)

И, вздыхая, лист, как гость недужный,
Прочь спешит покинуть праздник дружный.

(159)

Когда шарманщика терпенье
Чудовищно, и сквозь плетень
Мелькает ящик, — наважденье
Осеннюю тревожит сень.

(70)

На священной памяти народа
Англичанин другом не слывет
Развалит Европу их свобода,
Альбиона каменный приход.

О Европа, новая Эллада,
Золотая житница гостей,
Ни любви, ни дружбы нам не надо
Альбиона каменных детей.

(72) ОДА БЕТХОВЕНУ

Тебя предчувствуя в темнице
Шенье достойно принял рок,
Когда на черной колеснице
Он просиял, как полубог.

(73)

Поведайте пустыне
О дереве креста,
В глубокой сердцевине
Какая красота!

Из дерева простого
Я смастерил челнок,
И ничего иного
Я выдумать не мог.

(79)

Обиженно уходят на холмы
Плебеи, и о Риме семихолмном
Тоскуют овцы и по черным волным
Земли кочуют в океане тьмы.

.....

Они покорны чуткой слепоте,
Они — руно косноязычной ноги,
Им солнца нет: слезящиеся очи
Им — зренье старца — светят в темноте.

(83) ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры.
Как на косматые пещеры
Мы променяли сей эфир?
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать;
Мы научились умирать,
Но разве этого хотели?

(86)

И к умирающим склоняясь в черной рясе,
Заиндевельх роз мы дышим белизной,
Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной.

Как голубая кровь декабрьских роз разлита
И в саркофаге спит тяжелая Нева
Шуршит соломинка, соломинка убита —
Что если жалостью убиты все слова?

(94)

С глубокомысленной и нежною страной
Нас обручило постоянство.
Мерцает, как кольцо на дне реки чужой,
Обетованное гражданство.

(204)

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтобы высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

(218)

А не пора ли очнуться мне там,
Где обо мне ни слуху ни духу,
В городе, где выпрямляюсь по слуху,
Не по гвардейским его каблукам.

ПРОЗА

ШУБА

Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. — Спросят — холодно-ли сегодня на дворе и не знаешь, что ответить, может быть и холодно, а я то почему знаю.

Есть такие шубы, в них ходили попы и торговые старики, люди спокойные, несуетливые, себе на уме — чужого не возьмет, своего не уступит, шуба, что ряса, воротник стеной стоит, сукно тонкое, не лицеванное, без возрасту, шуба чистая, просторная, и носить бы ее, даром, что с чужого плеча, да не могу привыкнуть, пахнет чем то нехорошим, сундуком, да ладаном, духовным завещанием.

Купил я ее в Ростове, на улице, никогда не думал, что шубу куплю. Ходили мы все петербуржцы, народ подвижный и ветряный, европейского кроя в легоньких зимних, ватой подбитых, от Манделя, с детским воротничком, хорошо, если каракуль, полугрейках, ни то ни се. Да соблазнил меня Ростов шубным торгом, город дорогой, ни к чему не пиступишься, а шубы дешевле пареной репы.

Шубный товар в Ростове выносят на улицу перекупщики шубёники. Продают не спеша с норовом, с характером. Миллионов не называют. Большим числом брезгают. Спросят восемь, отдают за три. У них своя сторона, солнечная, на самой широкой улице. Там они расхаживают с утра до двух часов пополудни, с шубами в накидку на плечах, поверх тулупчика или никчемного пальтишки. На себя напялят самое невзрачное, негреющее, чтобы товар лицом показать, что бы мех выпушкой играл соблазнительней.

Покупать шубу, так в Ростове. Старый шубный митрополичий русский город. Здесь гуляют поповские гладкие

шубы без карманов: зачем попу карман, только знай за-
пахивайся, деньги не убегут.

Не дает мне покоя моя шуба, тянет меня в дорогу, в
Москву, да в Киев, — жалко зиму пропустить, пропадет
обнова. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречи-
стенку. Хочется и в Харьков, на Сумскую, и в Петербург
на Большой проспект, на какую-нибудь Подрезову улицу.
Все города русские смешались в моей памяти и слиплись
в один большой, небывалый город, с вечно сонным путем,
где Крещатик выходит на Арбат, и Сумская на Большой
проспект.

Я люблю этот небывалый город, больше, чем настоя-
щие города порознь, люблю его словно в нем родился,
никогда из него не выезжал.

Отчего же беспокойно мне в моей шубе? Или страшно
мне в случайной вещи, — соскочила судьба с чужого плеча
на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что
устроилась.

Вспоминаю я сколько раз я замерзал в разных городах
за последние четыре года: и замерзание в Петербурге,
возвращение с обледенелым пайком в руках в комнату
Дома Искусств, жгучие железные перила черной лестни-
цы, без перчаток, никак до них не доберешься, чудом
поднимаешься на свой этаж, грохнешь паек на столик
в кухонку, к старушонке, понемногу оттаять, притти в
чувство.

Жили мы в убогой роскоши Дома Искусств, в Елисеев-
ском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мой-
ку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупо-
мешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было
нас кормить государству и ничего мы не делали.

Впрочем молодые не унывали, особенно Виктор Бо-
рисович Шкловский, задорнейший и талантливейший ли-
тературный критик нового Петербурга, пришедший на
смену Чуковскому, настоящий литературный броневик,
весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и
литературного темперамента на десятерых. Он, как на-
стоящий захватчик, утвердился революционным порядком
в Елисеевской спальне, с камином, двуспальной постелью,
киотом и окнами на Невский.

На него было любо смотреть, и Елисеевская бывшая челядь его уважала и боялась. Вот он возвращается с огромным мешком картона на спине из экспедиции по дрова. Комнаты нам не дотапливали, за то тут же в доме находились девственные залежи топлива: брошенный банк, около сорока пустых комнат, где по колено навалено толстых банковских картонов. Ходи кому не лень, но мы не решались, а Шкловский бывало пойдет в этот лес и вернется с несметной добычей. Затрещит затопленный канцелярским валежником камин, а хозяин разбрасает по глянцевиным ломберным елисеевским столам и на кровати, и на стульях и чуть ли не на полу листочки с записками из Розанова и начнет клеить свою удивительную теорию о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную форму.

Приехала к нам и Мариетта Шагинян, прямо из Ростова, со своей монашеской глухотой, не от мира сего, вернее не от нашего Петербургского мира. Ее засмеяли, когда она, единственная из всего населения дома искусств вышла на чистку снега, скромную трудовую повинность, возложенную на нас советской властью и встреченную, конечно, снобическим саботажем.

Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших меблированных комнат, куда сплавили нас за неимением места в хороммах дома Искусств, — поэта Владислава Ходасевича, автора «Счастливого Домика», чей негромкий, старческий, серебряный голос за двадцатилетие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь.

Это была суровая и прекрасная зима 20-21 года. Последняя страдная зима Советской России и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я люблю Невский пустой и черный как бочка, оживляемый только глазами автомобилями и редкими, редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы.

Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней

поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее не дорого, но больше всего мне совестно за мою шубу перед старушонкой, что уютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына, на обратном пути добрые люди посоветовали ей сдать вещи в багаж и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб, все, буквально все, заработанное за всю жизнь.

1922.

ГРОТЕСК

Когдаходишь в маленькую уютную теплую каюту Гротеска, сразу начинают щекотать ноздри воспоминанья, такой тонкий и приятный запах прошлого, словно весь Гротеск, как знаменитый Страсбургский пирог, только что доставлен, горячий и дымящийся, из кухни Петербургской «Бродячей Собаки» и «Дома Интермедий».

Здесь незримо присутствует «гений» Потемкина, автора великой англо-негритянской трагедии «Black в» (кстати, входит в репертуар «Гротеска»), и все семейство больших и маленьких «Вампук» перекочевало в этот хрупкий ковчег остроумия.

Гротеск не просто забавный неисхищенный маленький театр, это правнучек, кровный отпрыск семьи российского театрального Сатирикона, может не любимый бабушкин внучек, да что делать — бабушка постарела, приласкать некому.

Давно отшумел блестящий Петербургский 1913 год.

Камина красного тяжелый зимний жар,
Над черным кофием встающий тонкий пар,
Веселость едкая литературной шутки.

Что это было, что это было! Из расплавленной остроумием атмосферы горячечного, тесного, шумного, как улей, не всегда порядочного, сдержанно беснующегося гробик-подвала в маленькие сенцы, заваленные шубами и шубками, где проходят последние объяснения, прямо в морозную ночь, на тихую Михайловскую площадь; взгля-

нешь на небо, и даже звезды покажутся сомнительными: остроумничают, ехидствуют, мерцают с подмигиванием.

И не освежает морозный воздух, не успокаивают звезды. Скрипит снег под легенькими полозьями извозчых санок, и как «бесы невидимкой при луне» в снежной пыли кувыркаются последние петербургские остроты, нелепость последнего скэтча сливается с нежной нелепицей, и холодок остроумия, однажды попав в кровь «как льдинка в пенистом вине» будет студить и леденить ее, пока не заморозит.

Да, я любила их те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные.

В этом году театральное остроумие взвилось, как стоветная ракета в темную ночь. «Дом Интермедий», «Кривое зеркало».

Би-ба-бо рассыпали холодный фейерверк гротеска, скэтча и пародии в воздухе, который был «предчувствием томим» для театральной публики; посвященная, она прошла через культуру остроумия, высшую школу издевательства, академию изысканной нелепости.

Простой петербуржец из трамвая, банка, министерства ничего не понимал в этом, но мы сходили с ума от факира, который, показывая бритву перед каким-то фокусом, пояснял, что она бреет растительность, «и даже на лице».

Дело было так. Из своеобразного ощущения исторической минуты родилось сильнейшее и острейшее чувство нелепости, возведенное в культ Кривозеркальцами и Сатириконцами. Это чувство нелепости положило начало позднему и утонченно-упадочному расцвету русского театрального Гротеска.

Настоящими участниками этой мистерии абсолютно нелепого могли быть только люди, дошедшие до «предела», у которых было что терять и которых толкала на путь сокрушительного творчества из нелепого внутреннего опустошенности, — предчувствие конца.

Появились перемены, выработались традиции, театр Гротеска вышел на улицу.

Иррациональный, нерассудочный элемент, заключенный в эстетической категории нелепого, должен был выветриться, уступить место простому остроумничанью, «Са-

тирикону»... То-то и печально, что в ростовском Гротеске господствует не тень Потемкина, который даже трезвый и приличный походил на отмытого негра, а изысканный Агнивцев с браслетами, щечочками и собачками, этот Кузмин на сахарине с маргариновым старым Петербургом, где стилизация не прячется в углах губ, а прет из каждой строчки, как лошадиное дышло.

В Гротеске кончилось творчество нелепого, все остроумно, мило, занято. Но когда выходишь из Гротеска на морозную улицу, звезды не ехидствуют и снег не хрустит с усмешкой.

Антракты Гротеска, благодаря Курихину, острее, художественнее, гротескнее самого действия. Каждое слово — чистое золото нелепости:

«Вот позвольте представить, Мария Васильевна, самая красивая девушка Ростова и Нахичевани».

За это «и Нахичевани» можно все отдать.

В антрактах Курихина живет традиция творчества нелепого, он единственный из Джиммистов, составляющих ядро Гротеска, подлинный мастер иррационального, гротескного юмора тонкого упадочного театра, стоящего на грани пустоты.

1922.

КИСЛОВОДСК ВЕСНОЙ

Разные бывают солнца, но такого как в Кисловодске, нет, кажется, больше нигде. При высшей своей жгучести оно не палит, не жжет, а глубоко, насквозь пронизывает тело радостью...

Тоже и кисловодский воздух. Разные бывают воздуха — степной, морской, горный, но кисловодский — особенный; мало того, что он насыщен всякими там кислородами и озоном; мало того, что сам он отличается необычайной легкостью, необычайной способностью проникать в легкие, — он и тела делает легкими... Восьмипудовая какая-нибудь туша чувствует себя в Кисловодске пятипудовой, а пятипудовые гражданки носятся по горам, как перышки...

Тот самый гражданин, который здесь, в Москве, хирел от жиру, разгуливает по кисловодскому парку с улыбаю-

щейся физиономией. Сам воздух так поддерживает его подмышки. Ноги сами ходят, точно к щиколоткам привязаны крылышки, как у крылатого бога Гермеса.

Да, замечательные вещи — воздух и солнце в Кисловодске! Но еще замечательней — Нарзан. Это уж совсем что-то живое. Это как будто «просто углекислая вода, которая излечивает сердечные болезни, но это не так «просто». Это — шампанское, бьющее прямо из земли. Натуральное шампанское, — возбуждающее, чуть-чуть пьянящее...

Сядешь в ванну, и тело моментально покрывается пузырьками, — как бы серебряной чешуей. Струйками со дна поднимаются эти пузырьки, все больше и больше, — вода точно закипает от присутствия в ней человеческого тела, и кажется, что и тело в соединении с нарзаном начинает излучать теплоту, кипит в ласковых иглах нарзана, теплеет, розовеет...

Сидит в ванне человек, какой-нибудь такой седой, с печальными глазами, и улыбается. А выходит из ванны, тело оранжевое, — совсем Аврора!

Потом легко идет, бодро, перекинув простыню через плечо, в парк, в горы, к «Красному солнышку», к «Медовому водопаду» (много прекрасных уголков и замечательных окрестностей в Кисловодске!) — и чорт знает куда его еще носит, старого человека с седой бородой! Усталости не знаешь в Кисловодске, — с каждой новой ванной нарзанной как будто начинаешь снова жить...

Недаром горские народы зовут Нарзан «Нардсанном», что означает «богатырь-вода»...

Да, хорошо в Кисловодске. И летом хорошо главным образом тем, что не жарко. Часто выпадают дожди — моментальные ливни, быстро просыхающие. Но после такого дождя воздух еще лучше, солнце еще ярче.

И весной, и осенью, и зимой хорошо в Кисловодске.

Летом там слишком много людей. Не видно деревьев за людьми. Облеплены горы людьми. А осенью и весной свободнее, тише. Тишина звенит. Начинается игра красок...

В парке каждое утро на рассвете стелятся новые ковры. Выбежишь в парк, еще глаза не разлепились от сна,

и видишь — опять поселены новые ковры. И разные все — самых разнообразных оттенков! Парк виден насквозь далеко. Вон под липами — оранжевый ковер, а рядом — золотой под кленами покрыл весь бугор, и солнце играет уже рассыпанным золотом у подножья стволов, а дальше, где ясень и дуб, — темнокоричневый ковер с зелеными пятнами... И все дорогие узоры, — персидские, французские...

Разве только вдруг выпадет снег... Покроет моментально белыми пеленами горы... Лежит ослепительный на фоне ярко-синего неба в горах. Красив снег в Кисловодске!

Но лица вытягиваются, начинается «ропот»: «вот те на! Приехали!», — и не успевают, как следует, забрюзжать приехавшие, как солнце скатывает пелены... И опять тепло. Даже в декабре бывает днем 20 град. тепла. Ходят в летних платьях и принимают солнечные ванны...

И шампанское зимой все также бьет из недр земли, животворящий богатырь — Нарзан — лучшей марки шампанское.

Но как ни хорошо в Кисловодске зимой, осенью и летом, а лучше всего все-таки весной. Весна побивает рекорд. Со всех времен года она собирает в себе самые лучшие краски. И, как птицы и пчелы на яркий цветок, слетаются в Кисловодск люди отовсюду, со всех сторон.

1927

[Отрывок из статьи «Пушкин и Скрябин»]

Рим железным кольцом окружил Голгофу: нужно освободить этот холм ставший греческим и вселенским. Римский воин охраняет распятие и копье наготове: сейчас потечет вода: нужно удалить римскую стражу... Бесплодная, безблагодатная часть Европы восстала на плодную, благодатную. Рим восстал на Элладу... Нужно спасти Элладу от Рима. Если победит Рим — победит даже не он, а иудейство — иудейство всегда стояло за его спиной и только ждет своего часа и восторжествует страшный противуестественный ход: история обратит течение времени — черное солнце Федры.

[1915]

[Отрывок из статьи о переводах]

Так называемый переводный язык — это могучее варварское наречие, дикий воляпюк, имеющий свои законы и традицию. Он развивается параллельно с живым литературным языком и в свою очередь оказывает на него сильнейшее влияние. В моей редакторской практике я сталкивался с переводчиками, которые и не подозревали о существовании отглагольных прилагательных. Без единого деепричастия они списывали целые томы. Тот отвратительный вид, в котором сейчас выходят иностранные авторы, — это настоящее чудо в сравнении с тем сырьем, которое издательства подсовывают редакторам.

[1929 г.]

ТАТАРСКИЕ КОВБОИ

(Кино-рецензия)

Просмотр этой фильма в АРК'е можно уподобить развее необычайному зрелищу Илиады, говорящей сама о себе. Благодаря любезности творцов этого произведения, мы ознакомились с эпическими стихиями, обусловившими наслоения и напластования этой чудовищной фильмы.

Чебуречно-минаретный Крым сам по себе является заманчивой областью для кино-налетов и, несмотря на то, что смелые исследователи говорили о своей «экспедиции» с дрожью в голосе, с суровыми интонациями, словно об исследовании Тибетских недр — она не нуждается ни в объяснениях, ни в оправданиях.

Воистину, нужно быть каменным человеком, чтобы не испытать живейшего восторга перед очаровательно-нелепым воображением авторов «Песни на камне».

Так говорить о Крыме, о татарах, о моменте, отстоящем от нас на какие-нибудь 10-15 лет, может только иностранец. У нас создается впечатление, что сценарий составлен интеллигентным парагвайцем или аргентинцем, что элементарнейшее представление о царском Крыме, его социальных отношениях и т. д. искажены с причудливой экзотической дерзостью.

Татары охотятся на исправника и на индейцев с остревением настоящих индейцев. На мирном крымском шоссе на шею исправника накидывают лассо, тащат его куда-то вверх на скалу. Вооруженных всадников обезоруживают, как маленьких детей. Все это безнаказанно производится самым мирным и кротким из всех окраинных народов царской России, крымскими татарами, теми самыми, социальная пассивность которых была широко использована царской властью.

В прозаичнейшей курортной крымской Элладе автор отыскал какую-то пещеру и поселил в ней каких-то одиночавших отшельников-ветеранов никогда не существовавшей татарской революции.

«С этим пистолетом я боролся еще с ханскими опричниками».

Эта изумительная надпись вводит нас в самую гущу экзотической фильма. Она реет над ней как великолепный лозунг. Из пистолетов по ханским (?) опричникам. Лассо на исправников. Бизонов в крымские прерии.

Авторы заявляют, что хотели дать бытовую фильму. Крым они упорно называют востоком, и нужно отдать им справедливость, они сделали все возможное, чтобы вытравить из реальной картины Крыма все, оскверняющее эту сомнительную экзотическую девственность. Попробуйте выйти на любое крымское шоссе, чтобы не встретить экипажа, автомобиля, каких-нибудь «европейцев», дачников, вообще, отнюдь не татар.

Где и когда видано, чтобы татары жили в Крыму с патриархальной замкнутостью, словно какие-нибудь горцы в сакях при Шамиле? Осторожные творцы странной фильма ограничили поле своих наблюдений, очевидно, одним Бахчисараем и, делая вылазки на побережье (понадобились волны), тщательно следили за тем, чтобы ничто постороннее не вторглось в чебуречно-овечий стиль.

Стерилизованные таким образом татары только и делают, что пляшут, борются на праздниках, продают друг другу чебуреки.

По заявлению режиссера, экспедиция в Крыму гнушалась воспроизведением и подделкой быта и пользовалась исключительно услугами местного населения, застав-

ляя его изображать интересные номера. Этот способ работы дал убогие и фальшивые плоды. Население, действительно, постаралось для высоких путешественников. Так подходя к сырому материалу, можно лишь выявить потенциально дремлющие в нем свойства плохих актеров.

Действительно опытная режиссерская рука чувствует-ся лишь в эпизоде похорон, порученном (по выражению авторов, отданном на откуп) — прекрасному постановщику, настоящему мулле. Мулла и его ритуальные помощники оказались профессионалами, и татарские похороны вышли у них не за страх, а за совесть.

Режиссеру, конечно, не удалось избежать кино-вампки. Массовые сцены поражают своей безалаберностью и опереточной фальшью. Игра отдельных «актеров» безвкусна и трафаретна.

О технике этой фильма не хочется говорить, настолько приковывает внимание ее исключительно забавная композиционная нелепость. Зритель никогда не забудет граничащего с нервным шоком недоумения, которое он испытал, когда «татары» ни с того ни с сего замахали руками и с яростью набросились на пресловутого исправника, появившегося на народном празднике.

Незабываемый исправник с баками Аледсандра II и пистолет из татарской пещеры, к сожалению не одиноки.

Растет поколение, которое по таким фильмам будет создавать свое представление о вчерашнем дне. Стыдно перед детьми. И перед татарами.

ШПИГУН

(Кино-рецензия)

Верблюд фигура нейтральная. Он одинаково чужд и белым и красным. Хотя Шпиковский и заставляет верблюда чихнуть в лицо бывшему уряднику, осквернив его хлопьями пены — это неубедительно. Благородный зверь мог осквернить своим поганым чихом любого (и) красного командира. Верблуду все равно, на кого чихать — нельзя сделать его орудием политики. Верблуд здесь важен, как прием отстранения. Одна только мысль пустить героя на

верблюде по Украине уже сама по себе великолепный сценарий. Здесь, кстати, скажем: у киносценария есть свои необоримые физиологические законы. Зритель к ним чрезвычайно чуток, он требует развития именно этих стихийных элементов, заложенных в сценарии. Быть может прообраз(ом) всякого сценария была погоня, преследование, бегство. Для зрителя герой Шпиковского совсем не шкурник, а фантастически(й) полусказочный «верблюжий шпигун», как метко определил его, рапортуя «его благородию», белый солдат в одной из отличных надписей фильма. Шпиковский сам не заметил, как вступил на путь сказки, а, между тем, он находится на несомненной фольклорной дорожке, с ее кружением вокруг одной неподвижной точки, с ее повторами, с ее здоровым лукавством.

Нет гибели на Ваньку-Встаньку, нет покровшки на Тартарен(а), нет извода верблюжьему шпигуну.

Чем совершеннее кино-язык, чем ближе он к тому еще никем неосуществленному мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с ее могучим синтаксисом, — тем большее значение получает в фильме работа оператора. С этой точки зрения работа Шпиковского, несмотря на свою скромную реалистическую внешность, — достижение очень высокой пробы.

Этот художник, не возлагая излишних надежд на актерскую игру, повествует подлинными зрительными образами, не повышая голоса, без крика, без высоких нот, без хриплого голоса, который хуже всякого крика. Трудно поверить, что большая вещь выдержана от начала до конца, выдержана без единого крупного плана. Мы слышим все время ровный, с логическими ударениями и небольшими паузами, голос чтеца. Шпиковский, я думаю, не сумел бы поставить натюр-морт. Он видит мир с высоты седла, с вагонной площадки или с артиллерийской двуколки — глазами среднего человека (щ), не напряженно (,) без символических причуд. В самом начале фильма он показывает землю, взрыхленную почву, какие-то черноземные бугры, но поворачивает плоскости с таким любовным мастерством, что зритель готов удивиться: как много на свете добротной земли, как похожа она на море.

(Лучшие куски шкурника: тощая артиллерия, проезд

жающая по узким улочкам городка, среди палисадников, колосья, подмятые бойцами, ржаное поле, разговаривающее,

Режиссер, как бы задался целью, отказавшись от выигрышных ударных мест, поднять средний уровень фильма) — *Забито. Ю. Ф.*

Влюбленный в средний украинский пейзаж, он не впадает в живописность. Тощая артиллерия, например, плетется змейкой по узким улочкам предместья, среди палисадников: если взять кадры отдельно, то скажешь: здесь засняты маневры, где-нибудь на Шулявке. Это кусок хроники. Только замечательное использование светотени, свойственное Шпиковскому, и «угол зрения» поднимают такие куски на уровень кино-прозы. Шпиковский умеет работать на среднем освещении. Его оператор должен был бы великолепно снимать хронику.

Если бы работа режиссера и оператора разворачивалась нормально по внутренним законам, если бы сценарист не побоялся фольклорной сказочной основы, с ее веселым озорством, — мы получили бы настоящего «верблюжьего шпигуна», легенду о верблюжьем тартаре. Очень жаль, что верблюд не чихнул на того, кто испортил сценарий Шпиковскому. Нынче шкурник 19 года — это уже кустарная игрушка, детская кукла. Ваньку-Встаньку не бьют, его щелкают. Степку-Растрепку не избличают: с ним надобно играть. Я удивляюсь той громадной недооценке зрителя, которую проявляют все наши сценаристы и все опекуны кино. Вот, например, Шпиковский создал великолепную игрушку, игрушку «социального назначения» — верблюжьего шпигуна. Образ пластический, выдумки — прямо лесковской — точеную кустарную куклу с большим воспитательным смыслом. Так, нет же. Кому-то понадобилось отнять игрушки, сломать, подменить. По сказочному смыслу сценария на бедного шкурника должны были сыпаться шишки, как с белой, так и с красной стороны. Ему полагалось быть битым и на свадьбе, и на похоронах. Гибнуть ему вообще не полагалось. Ванька-Встанька непобедим и Тартарен вечен.

Между тем, (какой-то недобрый гений — *забито.* — Ю. Ф.) совершенно правильный инстинкт внушил Ши-

ковскому, что наряду с фольклорной темой верблюжьего шпигуна и даже в противовес ей, надо крепить и развивать тему труда и хозяйства. Я уже сказал, что в шкурнике разлит воздух мирного времени. Это не инсценировка гражданской войны, это мы, в двадцать девятом году, играем куклой шкурника.

Все дело в том, что здесь не было достаточно бережного, любовного отношения к анекдоту, к сказу, к малой фабуле. Вообще, в последних своих фильмах в ВФУКУ, и другие фабрики в плену у больших масштабов. Война, революция, фронты — это фон. Но нехорошо, когда этот фон глушит медными трубами голос рассказчика. Нехорошо, когда нет смычки между исторической тематикой и скромной повестью или сказкой. История, могучая хроника, глушит органические сюжетные ростки. Оттого все сценарии выходят похожи(ми) один на другого. Получается какой-то общесоветский Пудовкин — мать всех российских фильмов.

Зачем Шпиковский на каждом шагу роняет шкурника, забывает о нем. Отчего он не провел героя через лучшие, самые ответственные места своей съемки. Фабула у Шпиковского движется по одной линии, а съемка по другой. Это главный недостаток «Шкурника», его органический изъян. Всюду, где вещь пахнет инсценировкой, она слаба. Сцена дележки награбленных сокровищ в монастыре — прямая бутафория, корчма из «Годунова» в Госопере. Тут, кстати (,) и невнятина: зритель помнит (,) изъятие ценностей и решает, что монахов экспроприируют не то бандиты, не то комиссары. А надо понимать, что бандиты делятся с монахами. Центральный эпизод — ржаные поля, примятые бойцами — хорош, как съемка, но фабула здесь не причем. А ведь таких колючих, усатых, военных колосьев ржи, как у Шпиковского, — поискать надо. Сама по себе смена кадров — ржаное поле — поле битвы — великолепна. Но если б мужики поймали — в поле верблюжьего шпигуна и избили его за потраву — нам было бы интересней.

Основной закон сказочности — три ряда повторений, в «Шкурнике» все же соблюден: советская командировка на Овечий Брод с верблюдом, для восстановления транспор-

та, приключения в штабе у белых, где удивительно радуёт метаморфоза бедного шпигуна в господина начальника Освага (английский френч, машинистки) и, наконец, опаснейшее знакомство с бандой. Даже в таких мелочах, как одновременное лузгание семечек, игра на гармошке и ловля вшей (трое мешочников на вокзале), — едва ли не лучший кадр «Шкурника», — чувствуется фольклорная трюечность.

Нам жалко невинного «Шпигуна», загубленного ненужной агиткой, мы не верим в сусальный субботник на вокзале и в страшную кожаную комиссаршу. Изрытый копытами песок на овражке даёт нам лучшее представление о гражданской войне, чем тела убитых во ржи. Мы хотели бы, чтобы верблюжий шпигун, со своим дромадером, воскрес в новой фильме Шпиковского — мастера светотени и спокойной, вдумчивой кино-прозы. Побольше озорства, побольше смелости, побольше доверия к зрителю (!) «Шкурник» в сказке должен быть наказан не расстрелами и скорпионами, а тем, чтобы как дополнительный паек на верблюда раздатчик вручит ему... шнурки для ботинок.

[1929]

О ПЬЕСЕ А. ЧЕХОВА «ДЯДЯ ВАНЯ»

(Набросок)

Чехов. Действующие лица «Дяди Вани», Серебряков, Александр Владимирович, отставной профессор. Елена Андреевна, его жена, 27 лет, Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака. Войницкая, Марья Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора. Войницкий, Иван Петрович, ее сын. Астров, Михаил Львович, врач. Телегин, Илья Ильич, обедневший помещик. Марина, старая няня. Работник.

Чтобы понять внутренние отношения этих действующих лиц, как системы, нужно чеховский список наизусть выучить, зазубрить. Какая невыразительная и тусклая головоломка. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник? Определите-ка свойство или родство Войниц-

кого, сына вдовы тайного советника, матери первой жены профессора, с Софьей Александровной — дочкой профессора от первого брака? Для того, чтобы установить, что кто-то кому-то приходится дядей, надо выучить целую табличку. Мне, например, легче понять воронкообразный чертеж дантовской Комедии, с ее кругами, маршрутами и сферической астрономией, чем эту мелко-паспортную галиматью.

Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями.

Чехов забирает сачком пробу из человеческой «тины», которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и всё. Выдать им билеты — например, «трем сестрам» — и пьеса кончится.

Возьмите список действующих лиц хотя бы у Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки: *personaggi*: Фабрицио — старик, горожанин; Евгения — племянница Фабриция; Фламиния, племянница Фабриция — вдова; Фүльгеницио — горожанин, влюбленный в Евгению; Клоринда, двоюродная сестра Фүльгениция; Роберт — дворянин и т. д. Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке.

Но Чехов и упругость — понятия несовместимые.

В античном мире владыка афинский Эак, когда весь народ его умер от заразы, от порчи воздуха — из муравьев людей наделал. А и хорош же у нас Чехов: люди у него муравьями оборачиваются.

На-днях я пришел в «Воронежский Городской Театр» к третьему действию «Вишневого сада». Актеры гримировались и отдыхали в уборной. Ко мне подошла старая театральная девочка в черном платье с белой косыночкой. То была Варя. Кулак-Лопехин, только что купивший вишневый сад, еще усиливался сдерживать в чертах лица выражение хитрой, но чувствительной коммерческой щуки. На клетчатых своих коленках он тихонько укачивал серебро-лунного думного боярина из пьесы Алексея Толсто-

го, из той самой, которую написал полицейский пристав в сотрудничестве с Аполлоном Бельведерским, на этот раз мой Мстиславский был в долгополом «расейском» сюртуке: помещик по фамилии Пищик.

В общем, развалины пьесы, ее, так сказать, тыл, были неплохи. Поиграв Чехова, актеры вышли как бы простуженные и немного виноватые.

Между театром и так называемой жизнью у Чехова соотношение простуды к здоровью.

(За несколько дней (до этого) театру был большой влёт: его изругала областная газета за то, что «Вишневы сад» был сыгран без настроения и обращен в удалую комедию.

Я испугался львицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, имущего места по объявлению в «Петербургском листке». В то время, как другие актеры всей осанкой своей говорили: «не мне, а имени моему», — в то время, как все они двигались, как недостойные иереи, словно ожидая, что кто-нибудь назовет их «ваше правдоподобие, и чмокнет в ручку, — один Епиходов знал свое место.)

Шумно вошла львица, игравшая в пьесе главную барыню. Номер ее обуви был слишком велик и в точности передавался голосом. У Епиходова дрожали усики.

(Выходец из суворинского Малого Театра, этот комический актер двадцать лет не видел родного города. «Петербургский листок». Место по объявлению. Кружка пива. Бутерброд с бужениной. Райские птицы галстуков в галантерейной лавке.)

1936

ИЗ РАДИО-ПЕРЕДАЧИ О ГЕТЕ

[Отрывки не вошедшие в основной текст]

Как хотел я еще раз взглянуть на кукольное представление. Но отец считал, что нельзя баловать ни старых, ни малых и чем даже доставлять детям радости, тем сильнее будет их впечатление.

Я обратил внимание, что в доме, еще необжитом, есть одна дверь, выходящая в столовую и всегда запертая на замок. Однажды утром мать забыла ключ в скважине. Я вошел в чулан и беглым взглядом окинув картонки, шка-тулки, мешки, ящики, стаканы и банки и всю запасную посуду. Отащив несколько сушеных яблок, я уже проби-рался к двери, как вдруг заметил два рядом стоящих ящи-ка, из которых торчало кукольное тряпье. Как я обрадо-вался убедившись, что в этих ящиках запакованы герои и реквизит моих трагедий. Я приподнял легкую крышку. На самом верху ящика лежала рукописная книжечка: это была комедия о Давиде. С тех пор все мысли мои сосре-доточились на комедии, каждую свободную минуту я украдкой твердил стихи и в мыслях представлял себе как это выглядит на сцене...

Гремят барабаны на чистеньких площадях.

Под музыку церковных органов проповедают ханжи и подхалимы.

Бродячие шарманки разносят по селам и городкам маленькую, рожденную в комнатной клетке, в отгорожен-ном садике мещанскую грусть и радость.

Золоченые кареты под звуки фанфар развозят чваных посланников, занимающихся стиркой государственного белья.

Где же победа над косностью? Как же она произойдет?

Кто тобой, гений, пестуем —
Ни дожди тому, ни гром,
Страхом в сердце не дохнут.
Кто тобой, гений, пестуем
Тот заплечку дождей,
Тот гремучий град
Окликнет песней,
Словно жаворонок
Ты — ввыси!

Революция любит пение жаворонка, не нигде и никогда жаворонки не производили революцию.

Роза, я сломлю тебя,
Роза в чистом поле,
Мальчик уколою тебя,
Чтобы помнил ты меня.
Не стерплю я боли.
Роза, роза — алый цвет
Роза в чистом поле...

Он сорвал, забывши страх,
Розу в чистом поле,
Кровь алела на шипах
Но она — увы — ах
Не спаслась от боли.
Роза, Роза — алый цвет,
Роза в чистом поле.

Эмилия танцевала с ним менуэт.

Эмилия: — Люцинда больна. Она лежит в постели. Она говорит, что умирает, потому что вероломный друг сначала увлек, а потом покинул ее ради другой.

Гёте: — Но я не виноват, я никогда не увлекался Люциндой. Я знаю, кто может это подтвердить. Не вы ли, Эмилия?

Эмилия: — Отец говорит, что ему стыдно брать с вас деньги за уроки: вы уже знаете все танцы.

Гёте: — Эмилия, и это вы советуете мне покинуть вас?

Эмилия: — Вчера мы зазвали гадалку. Между вами и Люциндой лежала бубновая дама. А что если это я? Вернется мой жених — что скажет он? А Люцинда! Одна сестра несчастна из-за вашей любви, другая — из-за нашего равнодушия. Прощайте, — и в знак того что это последняя встреча...

Дверь распахнулась и в комнату вбежала Люцинда:

Люцинда: — А, ты его целуешь! Ты не одна простишься с ним.

Эмилия: — Такую сцену на театре могла бы исполнить только хорошая французская актриса.

Люцинда: — Это не первое сердце, которое ты у меня отнимаешь. А тот, с кем ты обручена, разве он не был моим? Я должна была все это вынести и вынести. О, слезы мои, я проста и легковерна, я открыта и честна! А ты — ты хитрая, ты злая, ты скрытная.

Эмилия: — Уходите! Зачем вам это слушать.

Люцинда: — Постой. Я знаю: ты для меня потерян. Но тебе, сестра, он не достанется тоже. Прощай... первый и последний поцелуй... Эмилия, слушай: я проклинаю ту, которая после меня поцелует эти губы... Хочешь, попробуй; но берегись, не оберешься бед! А вы что здесь? Бегите! Бегите прочь! Скорей.

Гёте бежал, дав зарок никогда не возвращаться к танцмейстеру.

(Менуэтная музыка)

Когда попадаешь в новую местность, проследи по какому направлению текут реки и даже ручейки, — через это познаешь рельеф, геологическое строение местности.

Какие здесь цены на хлеб? Неисчерпаемые природные богатства — уголь, железо, квасцы, сера, а страна — под угрозой голода. Лавочник в Пфальзбурге отказался вчера продать нам хлеб.

Отчего этот запах серы и гари и дым из трещин земли?

Подземный пожар, охвативший отработанные штольни. Он длится уже десять лет.

Двухэтажный домик с белыми занавесками на окнах. Здесь, на горе, в рудничном районе живет «угольный философ» химик Штауф. Гёте, путешествуя по Саару, пришел поговорить с ним о хозяйстве страны и об использовании природных богатств.

— За то меня порадовала выработка проволоки. Это зрелище способно привести в восторг любого человека: тяжелый ручной труд заменен машиной. Она работает, как разумное существо.

Гёте положил на стол свой штейгерский молоток.

И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьей гамме
И Гете свищущий на вьющейся тропе,

И Гамлет, мысливший пугливыми шагами
Считали пульс толпы и верили толпе...

Творческая тайна художника — как это хорошо, как это глубоко!

Мудрый совет, толкающий на полезное действие — как это прекрасно!

Но из этих двух — сошьют тайного советника — Гёте.

— Коршун исклевал печень богоборца Прометея.

— Корни мои подрублены, — воскликнул умирая Гец фон Берлихенген.

Черные глаза Лотты кажутся Вертеру пропастью, которая влечет его к безумию и смерти.

Эти трое, рожденные его фантазией, разбились, погибли. Однако тот, кто еще не научился ждать, кому еще знакома лихорадка ожидания — отталкивается от гибели.

Новому не рад я. С избытком
Этот род к земному приспособлен.
Только дню текущему он служит...

Чего же он ждет?

Придворная карета изволит не приезжать.

Карета, которую за ним обещали прислать Веймарские чиновники изволит опаздывать.

На страсбургском каретном дворе голубым штофом обивают спальный экипаж — так называемый дормез. Кузов его лакируют. Веймарский герб на дверцах золотят.

Страсбургские каретные мастера, не торопясь изготавливают тюрьму на колесах, лакированный гроб на рессорах, в котором величайшего поэта Германии должны доставить в карликовое государство — Герцогство Веймарское, — где он будет министром у помещика, чудом-юдом для показа гостям.

Из «внутренней» рецензии на книгу стихов А. Коваленкова «Зеленый берег».

...У Коваленкова есть начатки подлинной молодой советской лирики. Он говорит о революции:

Тихо сняла винтовку,
Стукнула в пол прикладом,
Зоркая и большая,
Стала со мной рядом.

Прекрасная сдержанная строфа, обдуманнные глаголы. Военная точность и спокойствие и в то же время огромная взволнованность.

Вот еще строфа, которая могла быть сказана только о советском школьнике и только советским поэтом:

Вникай, озорной смышленыш
В жизнь, которой ты дышишь,
Видишь прозрачным глазом,
Розовым ухом слышишь...

Какая меткость, какой чудесный подбор простейших средств. В развернутом виде эти четыре стиха составят характеристику лучших качеств советской школы... Душевный мир советской учащейся молодежи не является чем-то абсолютно достоверным, открытым, лежащим на ладони. Большинство новых эмоций никем еще не выражено. Например, сотни тысяч юношей посещают стадионы, но только одному Коваленкову удалось сказать:

И холодок волнения гусиный
Опять со мной на цыпочки встает...

1934.

№ 1.

К матери

Дорогая мамочка,

Получил, получил твое письмо. Что же это станется из нашей переписки, если неделями будем мы молчать... Этак всякое живое содержание из нее исчезнет и поневоле останутся одни общие места.

Была ты значит у В. В. Это хорошо... Жалею, что не послал для него письма... Любопытно мне что он скажет. Надеюсь об этом скоро узнать. Сейчас у меня настоящая весна, в самом полном значении этого слова... Период ожиданий и стихотворной горячки...

Время провожу так: утром гуляю в Люксембурге. После завтрака устраиваю у себя вечер — т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа... Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера, это милая комедия. К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку... и происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций под председательством несчастной хозяйки...

Вчера, напромер, и до самого вечера говорил с неким молодым венгерским писателем о превыспренних материях, состязаясь с ним в искажении языка. Этот талантливый поэт настойчиво употребляет странное выражение: «му-стар» для обозначения горчицы (мелко, но характерно).

Не слишком ли преждевременно будет теперь думать об университетских хлопотах? Ведь их и невозможно начать раньше осени? А если меня не примут — то я поступлю в один из немецких университетов... и согласую занятия литературой с занятиями философией.

Маленькая аномалия: «Тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии.

Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай.

Твой Ося.

Paris 20-IV-1908.

№ 2.

К С. З. Федорченко

9-7-1924.

Уважаемая Софья Захаровна!

Вчера Вы были так добры, что в первое же моё посещение занялись моей характеристикой и в кратком очерке прибегли к выражению «ничего, что он, т. е. я, — немного жулик...» Очевидно, говоря это, Вы полагали, что сообщите мне нечто естественное, к чему я привык, как к общественному положению и своего рода «званию». Иначе я не могу объяснить той лёгкости, с которой чудовищный эпитет сорвался у Вас с языка...

Вы очень ошибались: я не привык к подобным характеристикам, даже шутливым и дружелюбным. Вчера я не хотел углублять этой «темы» ради моей жены, — теперь же настойчиво прошу Вас указать мне источник гнусных сплетен, которым Вы, очевидно, поверили и чего не скрыли от меня, (считая, что это не повредит нашей приязни).

Жена моя и я просим Вас, если Вы дорожите нашим уважением — определённо и точно сообщить, кто и что говорил Вам обо мне предосудительного. В случае же, если Ваши слова имеют своим источником Ваше личное от меня впечатление — положение совершенно непоправимо.

С искренним уважением

О. Мандельштам

Адрес: Б. Якиманка, д. 45, кв. 8

17.X.1925 Пятница

Надинька дорогая!

Сегодня утром я ходил с Сашей по делам, дал ей 15 р. и уладил с страхованием. Сегодня мне дважды звонили из Прибоя и просят сделать 4 листа Раблэ. Завтра ответ на мое условие: 160 р. (половина вперед). Купил калоши. Сейчас для благодушия лежу в постели и диктую последние страницы «коврика». Чувствую себя совершенно здоровым. В начале будущей недели надеюсь окончательно ликвидировать всё. Открыточку твою получил.

Надичка, где телеграмма из Ялты. Детуся моя, будь весела и не держи меня в неизвестности,

Ося. Няня.

Аня кланяется. Целую родную мою.

30.1.1926

Родная Надинька!

Сейчас приехал в Харьков. Завтра в Москве поезд стоит целый день Ехать было очень скучно, но я встал только в 12 часов. Погода довольно тёплая — 5°. Завтра с Шүрой обменяюсь палками и погуляю. Я спокоен, весел и здоров. Целую тебя, моя радость — завтра пишу подробно. Твой Няня.

25.9.1926

Родная моя Надинька,

У меня все хорошо, сейчас еду в Детское. Детка моя, не жалея на себя ничего — у меня хватит на мою родную. Ты знаешь, я снял квартиру Страховской. Мы ходили осматривать ее с Аней. 1 октября переедем. Вещей пока не продаю.

Надюшок мой Надик, как тебе там на пустом берегу?

Пиши мне подробно-подробно. Няня твой всегда с тобой.

Няня.

[на обороте купона денежного перевода в 40 рублей]

Родная моя Надинька,

Как нам с нашим котиком грустно. Мы пошли с Аней на базар. У нас до сих пор была крымская погода, а сегодня — бр.бр.! Два дня я был в городе, маялся с газетой (бухгал. перепутала мой счет) — вырвал 50 рублей и еще получу. Был на съемке Совкино во дворе дома на Каменоостр. Роденькая моя, еще ни словечка от тебя не получил. Страховские выезжают в первых числах октября. Как только въеду в квартиру — сейчас же в Москву. Там поближе к тебе, Надик. Ты мой сыночек крымский. Вот что: слушай меня: покупай масло, яйца и много-много фруктов. Взвешивайся. Если будет холодно, телеграфируй: немедленно вышлю денег на Ялту.

Детка моя, до скорой встречи. Няня тебя целует, без тебя не может Няня.

№ 7.

[без даты]

Родная Надинька,

Вот доверенность. Скучаю. Жду. Скорей, скорей, скорей приезжай. Ну я работаю Мопассана очень сильно. Как ты, мой дружок? Когда я работаю, ты как будто здесь.

Приезжай же скорее.

Вот радость большая! Здоров. Целую.

№ 8.

[отрывок из письма к отцу]

...обедает (второй раз, после Госиздатского обеда). Сегодня он был чистенький, в новом черном костюме. Я в счет долга купил ему ботинки — скорохие (?). Он бритый. Новый галстук. Ему нужна кровать. Мечтаем устроить его хоть на ночлег, по соседству. Но ему будет на службу далеко. Он много работает и, хотя он всегда ноет и бредит «сокращеньем» — он прошел благополучно через сокращенье и его конечно ценят как очень добросовестного работника.

Наде Крым очень помог. Температура иногда еще скачет — но она живой человек, хозяйничает, не валяется весь день, ходит по городу — чудеса! Милый папочка! Скажи правду — ты приедешь к нам и когда? Мы тебя так примем, что лучше нельзя. Тебе должно понравиться. Что у тебя с раной? Не нужна ли тебе клиника в Москве? Я могу устроить. Береги себя. Берегись работы. Что такое ты затеял с трестом?

Можете приехать вместе с Женей. Если он уже будет здесь я выцарапаю деньги, пошлю М. Н. Пусть он отдыхает, поищет работы в Москве или через Москву...

[зима 1923]

№ 9.

К Е. И. Замятину

Дорогой Евгений Иванович,

Письмо Ваше получил с е г о д н я утром. Согласие мое сообщил Людмиле Николаевне. Я прочту две-три пьесы из «Пламенного Круга». Было бы очень желательно, чтобы все приглашенные поэты не ограничились репертуаром неизданных стихов, а прибавили к нему хоть что-нибудь из старых. В этом чтении всем известных, старых стихов, в повторении давно всем знакомого — единственное о п р а в д а н ь е участия поэтов в предполагаемом вечере. Кроме того мне кажется, что совершенно необходимо пригласить В. А. Пяста — одного из самых близких по духу и поколению к Ф. К., к р о в н о г о поэта. Короткая память в отношении к Пясту наш общий грех.

Жму вашу руку

2/III/28

О. Мандельштам

№ 10.

К Венедиктову

Уважаемый тов. Венедиктов!

21-го текущего месяца в ЗИФе было получено адресованное тов. Шойхету мое письмо, содержавшее просьбу приурочить к определенным срокам, в пределах, допу-

скаемых договорами, платежи по одному из томов Вальтер-Скотта «Антикварий» и по первому тому Майн-Рида «На дне трюма».

В отношении «Антиквария» ЗИФ очевидно не считал возможным уважить мою просьбу, ибо согласно сведениям, полученным от лица, наводившего справки, гонорар за него будет выплачен только 5-го июля, то есть в предельный по договору срок (через три недели после фактического получения рукописи).

Остается вопрос о Майн-Риде. Я поднимаю его заранее, поскольку он имеет насущнейшее значение для меня. Рукопись, о которой идет речь, будет получена Издательством в первых числах июля. По договору Издательство вправе ее оплатить немедленно после получения т. н. «одобрения».

Я убедительно прошу на этот раз пойти мне навстречу и, не затягивая процедуры, выплатить деньги примерно к 15-му июля. Выполняя для ЗИФа крупные работы, я отнюдь не ограничиваюсь формальными требованиями договоров и, нередко в ущерб себе, значительно усложняю литературное задание. Все мои опоздания и формальные неточности, неизбежные при массовой работе, объясняются этим отношением к качеству работы. Я имею полное основание ожидать, что в данном случае Вы удовлетворите мою просьбу, ни в коем случае не нарушающую договора. Поверьте, что я не оспариваю права бухгалтерии маневрировать в пределах льготного срока. Утруждать Вас специальными пожеланиями по поводу каждого сдаваемого тома я вовсе не собираюсь... Повторные и предварительные просьбы относительно первого тома Майн-Рида прошу считать исключением, хотя полагаю, что не в интересах издательства тормозить нашу и без того нелегкую работу, систематически отодвигая платежи на последний срок.

Хотел бы еще коснуться вопроса о переписке: мне было передано, что оплата ее задерживается до сдачи в набор. Этим самым соответствующий пункт договора аннулируется и снижается гонорар. Больше того, этим устанавливается своеобразный «штраф» на качество работы редактора: чем тщательнее проредактирована переписан-

ная на машинке рукопись, тем больше оснований ожидать, что переписку забракуют. На протяжении почти годичной работы над Вальтер-Скоттом у нас не было таких прецедентов; мы имеем дело с новшеством, и вряд ли удачным. Кроме того, по основному договору на Вальтер-Скотта и специально запротоколированному соглашению, подписанному тов. Нарбутом, переписка должна оплачиваться одновременно с редактурой. Крайне меня обяжете, сделав соответственное распоряжение.

Поскольку устные передачи через третье лицо, которое поддерживает мою связь с ЗИФом неточны и недостаточны, я бы очень просил Вас ответить мне по прилагаемому адресу.

Уважающий Вас...

29 июня 1928 г.

Ялта, Улица Коммунаров, пансион Лоланова.

№ 11.

К И. И. Ионову

[январь 1929]

Уважаемый г. Ионов!

Только что я получил извещение, что Вы, во-первых, объявили договор на Майн-Рида со мной и Лившицем расторгнутым, а во-вторых, заявили Лившицу, что работать с нами впредь вообще отказываетесь. Я не уполномачивал Лившица о чем бы то ни было Вас просить и отнюдь не считаю, что вопрос о том или ином договоре может быть разрешен расторжением его в явочном порядке издательской стороной. Независимо от того, насколько этим затрагиваются мои и Лившица личные интересы, Ваше выступление в той форме, как мне о нем передавал Лившиц, является грубейшим общественно-литературным промахом. Я пишу Вам именно в этом плане.

Напоминаю Вам, что переводчик тот же писатель и что, заявляя переводчику о нежелании с ним работать,

закрывая перед ним двери крупнейшего, едва ли не монопольного советского художественного издательства, Вы берете на себя тяжелейшую ответственность, точно такую же, как если бы Вы принципиально закрыли Зиф или Госиздат тому или иному оригинальному автору. Для этого должны быть серьезнейшие основания. У Вас их нет и быть не может.

Постановку переводного дела в Зифе и других издательствах нельзя назвать иначе, как вопиющим хроническим безобразием. Перевод заранее и заведомо считается халтурой. Издательства делают все от них зависящее, чтобы снизить качество продукции. Вместо того, чтобы озаботиться подбором кадра квалифицированных переводчиков, использовать их по специальности и создать для их труда минимально благоприятную атмосферу, издательства — и в первую очередь Зиф — набирают переводчиков с бору по сосенке, превращая огромную отрасль производства не то в «собес»; не то в хаотическое кустарничество на потребу рынку.

Специфическое отличие в профессиональном положении переводчика от оригинального автора сводится к тому, что переводчик — лицо пассивное, то есть вынужден ждать, пока ему предложат ту или иную работу. Он не торгует Бальзаком или Майн-Ридом, а предлагает свой труд вообще. Всякого рода разговоры о том, что переводчики в условиях нашего производства выбирают себе работу, является... миндальничанием и лицемерием. Даже пять-шесть (да и столько-то не наберется) заслуженных и квалифицированных переводчиков-писателей, случайно затесавшихся...

..Несмотря на безобразно низкую оплату труда и полное равнодушие издательства к качеству работы, несмотря на грозившую заново после каждой сделанной книги безработицу (в связи с нежеланием маклерствовать и самому доставать «новиночки» с запада) моя переводческая деятельность сохраняла черты литературы на протяжении ряда лет исключительно благодаря высокой культурности А. Н. Горлина, крупнейшего специалиста по переводческому делу в нашей стране, сумевшего поднять переводческий отдел Ленинград-Гиза на должную высоту.

Уже в Ленинград-Гизе начинались халтурные тенденции издательств, параллельно с настоящей работой уже там по инициативе некоторых товарищей, своеобразно экономивших копейку, делались предложения «приспособить» за пять или десять рублей к печати абсолютно безграмотные переводы классиков, вроде Альфонса Доде, и находились люди, выполнявшие подобные заказы.

После Ленинград-Гиза с Госиздатом лучший в стране переводческий аппарат захирел и был фактически разгромлен. Для старых опытных работников наступила безработица. Центр тяжести переводного дела временно переместился в «Прибой».

Халтура «Прибоя» в иностранной литературе была беспримерна. Нельзя найти достаточно резких слов, чтобы заклеить отношение т. Шумяевского и его сотрудников к литераторам-переводчикам и к самому производству. Объявлялись конкурсы на скаковой рекорд по переводу пятнадцатилистных книг в десять дней, гонорар цинично задерживался вплоть до того, что ряд переводчиков вынужден был продать все свое имущество до последнего стула; с квалифицированными переводчиками велся рыночный торг, чтобы оттянуть у них копейку — с тенденцией снизить оплату за перевод, «не требующий редактуры», до двадцати пяти рублей с листа; в издательство, наконец, хлынула целая масса псевдо-переводчиков, никому не ведомых дилетантов, готовых на все условия.

Несмотря на безобразную постановку дела в «Прибое», моя работа в нем удерживалась на той же высоте, что и в Ленотгизе. Упомяну хотя бы книгу Даудистеля «Жертва» или «Тартарена» Доде — работы во многих отношениях показательные. Между закрывшимся «Прибоем», омертвевшим Ленотгизом и Зифом протянулась полоса абсолютной безработицы. Так осуществлялось право специалиста на труд.

В Зифе я впервые столкнулся с так называемой «массовой» работой, то есть с механизированным выпуском полных собраний сочинений иностранных авторов в до смешного маленькие «военные» сроки методом обработки или правки старых переводов, большей частью датированных самыми упадочными десятилетиями прошлого века.

Это был модус производства. Нужно только удивляться, как это Зиф не заказал в месячный срок перевода и обработки Божественной Комедии Данта по сорок рублей с листа, с уплатой через месяц по представлении рукописи и с удержанием переписки. Впрочем, Рабле по сходной цене был кому-то заказан. К чести моей и Лившица нужно сказать, что мы не соблазнились Рабле и Дантом, а занялись несравненно более скромным и в условиях Зифа единственно здоровым делом — обработкой для юношества устаревших по форме авторов, но сохранивших крупное историческое значение, как Вальтер-Скотт, или научно-воспитательное, как Майн-Рид...

...Самые договора Зифа являлись хитроумными юридическими ловушками: во избежание ответственности издательства перед труженниками 90-ых и 900-ых годов из договорных формул тщательно вытравлялось самое имя переводчика, замененное казуистическим термином — «редактор-переводчик». Само издательство выродилось в бездушную, уродливую канцелярию, на что я неоднократно указывал т. Нарбуту. Редакционного сектора, по существу, не было. Пораньше получить рукопись и попозже за нее заплатить — к этому сводилось все. Законом было полезное и удобное для издательства, а литературная продукция рассматривалась как собачье мясо, из которого все равно выйдет колбаса. Качество работы катастрофически снижалось. С одной стороны — террор квартальных планов, с другой — сопротивление никуда негодного сырья. Даже заикнуться о коренной ломке договора, то есть о заказе издательством новых переводов, и о том, чтобы растянуть годичный срок издания до трех-годового, — было немислимо. Вообще, с нами разговаривали только через прилавок: «Поскорее, молодцы, поторапливайтесь». За каждый лист обработанного Вальтер-Скотта уплачивалось наличными по 36 рублей; я утверждаю, что за эти деньги можно получить, заказав «охотникам» новые переводы, лишь дрянь и галиматью, хуже сойкинской или сытинской, неподдающуюся даже правке. Издательство это знало и не могло не знать, но сознательно закрывало глаза и, спекулируя на литературном умении и опытности Мандельштама и Лившица, все же получало, по меньшей

мере, удовлетворительные тексты, переделанные из старинки.

Вы расторгли — точнее выразили желание расторгнуть с нами договор на Майн-Рида, потому что мы якобы нарушили его, переводя с французского. Не мешало б вам еще до экспертизы, которая решит, является ли наш труд халтурным и недостойным Майн-Рида, заглянуть в самый договор, о котором идет речь, и сделать вывод, не ярчайшим ли образцом халтуры издательства является этот самый договор.

Издание Майн-Рида, автора с нулевым литературным значением, лишенным намека на самостоятельный стиль или форму, утопающего на каждом шагу в слащавости и банальной красивости, было задумано исключительно ради его жанровых, приключенческих достоинств, все выявление которых падало на обработчиков. Оно оправдывалось лишь богатством естествоведческого и этнографического материала и волевым жизненным подъемом, которые нужны нашей молодежи, пока у нас нет своего Майн-Рида. За переделку Эдгара По можно казнить без суда, но относиться с пиететом к тексту Майн-Рида может только дореформенный учитель чистописания. Позволяя себе заметить, что мои и вообще современные представления о прозе, даже для юношества, несколько расходятся с Майн-Ридом.

Неужели же блестящие по точности, авторизованные французские переводы в руках Мандельштама и Лившица могли дать худший результат, чем случайная стряпня с английского? Кто этому поверит? Для опыта мною были заказаны переводы с английского переводчикам, рекомендованным Зифом. То, что они мне представили, и то, что мне пришлось потом обламывать с громадной потерей времени и труда, было убогим лепетом, полуграмотной канителью, кишасцей нелепостями, и в результате правки было несомненно бледнее и беднее моего перевода с французского. Но это и есть то, не вызывающее сомнений «сырье», из которого у нас изготавливаются переводные книги: сначала полуголодный, пришибленный переводчик (точнее, деклассированный, безработный интеллигент, ни в коем случае не литератор) полуграмотно перевирает

подлинник, а потом «редактор» корпит над его стряпней и приводит ее в мало-мальски человеческий вид, уж, конечно, не заглядывая в подлинник, в лучшем случае сообразуясь с грамматикой и здравым смыслом. Я утверждаю, что так у нас выходят сотни книг, почти все; это называется «переводом с французского» или «переводом с английского» под редакцией «такого-то». Впрочем, имя редактора чаще всего опускается.

Возвращаюсь к нелепой структуре Майн-Ридовского договора. Издательство выплачивало пятьдесят пять рублей наличными с печатного листа. И этим обязательства его кончаются. Тираж издания неограниченный, астрономический. А вот список наших обязанностей: «редактора-обработчики», в понимании договора низведенные до подрядчиков, обязуются, во-первых, заказать и оплатить...

№ 12.

В Федерацию Сов. Писателей

Уважаемые товарищи!

то, что случилось у меня и Лившица с Ильей Ионовичем Ионовым, я не могу назвать иначе как катастрофой. Выпад Ионова переворачивает все наши представления об уважении к писательскому труду: грубый писательский окрик, град тяжелых безответственных обвинений, абсолютное презрение к личности и заслугам двух работников, которые отдали годы труда советской книге. Это была крутая домашняя расправа — в четырех стенах, без свидетелей, но с таким результатом, как ломка жизни, конец профессии, уничтожение в одну минуту писательской репутации. Ионов выдал мне и Лившицу волчий билет.

После его декларации мне и Лившицу остается стать в очередь на Биржу Труда. Впрочем, Ионов разрешил Лившицу подать на него в суд или куда угодно, не считаясь с его положением. Разрешение излишне. Напрасно Ионов думает, что мы нуждаемся в подобной санкции...

...Не думайте, товарищи, что я ограничусь вопросом о повышении гонорарных ставок для переводчиков-редак-

торов. Как ни важен этот вопрос, но он далеко не все. Но оплата задает тон всей работе. Оплата постыдно снижает качество. Оплата, самый ее способ, вызывает дикую спешку. Оплата отшибает от дела все талантливое, живое и нужное. Выходит так, что громадная культурная функция как правило выполняется калеками, недотепами, бездарными и случайными искателями заработка.

Хотя так называемые переводчики и зарегистрированы в писательских союзах, образуют даже самостоятельные секции, к этим случайным группам случайных людей, быть может ни в чем и неповинных, нельзя апеллировать в таком важном деле. Соблюдая всю мягкость и осторожность, надо провести переквалификацию действующих работников, щадя их самолюбие, считаясь с возможностями личных трагедий на почве судьбы этих работников, соблазненных издательствами, которые не постеснялись вовлечь их в невыгодную сделку, выставим на позорище перед обществом и читателями, в поисках дешевого мозга и дешевого труда.

Чтобы больше не возвращаться к вопросу о гонорах, изображу вам выпукло и наглядно, во что выливается оплата периодического труда. Возьмем среднюю ставку 35 рублей. Предположим, что переводчик получает наличными 20. Он работает не по конвейеру — том за томом. Сплошные перебои, безработица, поиски книжки, хлопоты, мытарства. Недоплаченные 15 рублей для него манна небесная. Из бюджета они выпадают. В них переводчик не верит. Но у него есть еще тяжелые производственные траты, в которых издательства, начиная с Гиза до последнего частника, с циничным упрямством отказываются участвовать. Из нищенского гонорара, похожего скорей на подачку, переводчик вынужден по букве договора оплачивать переписку на машинке (минимально 3 рубля с печатного листа). Значит у него остается, считая расход на бумагу, а также ленту, которую его заставляют оплачивать машинистки, всего 16 наличных рублей. Но это еще не все. Никакой переписки на самом деле не бывает: на самом деле бывает диктовка, а диктовка гораздо дороже — уже не 3, а 5-6 рублей с печатного листа. Таким образом «подачка» наличными...

...К самому переводу относятся как к пересыпанию зерна из мешка в мешок. Чтобы переводчик не утаил, не украл зерна при пересыпке текста, по методу лабазного контроля оплачивается с русского текста, и не с подлинника, и вот годами по этой ничтожной причине книги пухнут, болеют водянкой. Белые негры нагоняют «листаж», чтобы как-нибудь свести концы с концами. Вся трудовая атмосфера в данной области насквозь больная. Деморализация отчаянная. Как позорно, как больно видеть взрослого человека, семьянина, иногда с сединой в волосах, униженно лебезящего в редакторской приемной, домогаясь «работки». Не один, так другой. Дублеров сколько угодно. Переводчик — это попросту безработный. Вдумайтесь только, что означает выражение «дама-переводчица». Ведь только на базаре у нас еще говорят «мадам». Но вокруг инстантной книги кормятся сотни никому не ведомых полуграмотных женщин, имеющих заручку, знакомство, связи в издательствах. Переводят «дамы», домашние хозяйки, имевшие в детстве гувернантку-француженку, спекулянтки-негродержательницы, наконец, жены, родственницы, протеже влиятельных работников.

Перевод — один из самых трудных и ответственных видов литературной работы. По существу, это создание самостоятельного речевого строя на основе чужого материала. Переключение этого материала на русский строй требует громадного напряженного внимания и воли, богатой изобретательности, умственной свежести, филологического чутья...

№ 13.

Заявление

В Московский Губернский суд
(по гражданско-судебному отделению)

Соответчика Мандельштама
Осипа Эмильевича.

Совершенно исключительное значение для дела в связи с заявлением юрисконсульта ЗИФа имеют свидетельские показания тов. Шойхета Абрама Мойсеевича, проживаю-

шего Б. Грузинская ул. № 19 кв. 14, и Колесникова Леонида Иосифовича, находящегося в редакции «Вечерняя Москва», бывших — первого — Пом. зав. редиздата ЗИФа, второго — штатного редактора ЗИФа. Эти свидетели могут подтвердить, что ЗИФу было известно, что я при своей редакторской работе при обработке «Уленшпигеля» пользовался переводом Карякина, тогда как ЗИФ теперь это отрицает. Поэтому прошу вызвать указанных свидетелей в суд, выдав мне повестки на руки.

8 июня 1929 г.

О. Э. Мандельштам

№ 14.

Советским писателям

(отрывок)

.....

...пройти мимо подобной гнусности. Неужели вы могли подумать, что я буду дальше разгуливать с этим пятном в вашей среде только потому, что зачинщики травли оставили меня в покое?

Если бы вы потрудились меня запросить, вы бы узнали о грязных махинациях издательства ЗИФ, о чиновниках-лжесвидетелях, исполнявших волю начальства, о том, как Федерация писателей, то есть вы сами, длительно и упорно подготовляла против меня уголовный процесс, покрывая негодяя Заславского, и получила пощечину от Губсуда и от Верховного Суда Республики; вы бы узнали о жалкой роли 15 писателей, тихонечко и «на всякий случай» отступившихся от этого чудовищного дела.

Очевидно, это было недоразумением. Я спрашиваю в упор: за кого вы меня принимали? Какая цена вашим рукопожатиям?

Теперь я с горечью оглядываюсь на весь свой жизненный путь. Собачий юбилей был мне наградой. Какой пример уважения к труду и к личности работника даете вы, писатели, нашей стране. Не в том беда, что вы надвое

переломили мою жизнь, варварски разрушили мою работу, отравили мой воздух и мой хлеб, а в том, что вы умудрились этого не заметить.

Я договариваю за вас: я делаю то, что вы поленились или побоялись сделать. Больше вам не придется «защищать достоинство советской литературы от Мандельштама» (подлинное выражение из всесоюзной писательской грамоты, изготовленной в Доме Герцена)...

№ 15. **Открытое письмо советским писателям**

Я заявляю в лицо Федерации Советских писателей, что она запятнала себя гнуснейшим преследованием писателя, использовав для этой цели неслыханные средства, прибегла к обману и подтасовкам, замалчивала факты, фабриковала заведомо липовые документы, пользовалась услугами лжесвидетелей, с позорной трусостью покрывала и покрывает своих аппаратчиков, замалчивала и покрывала своим авторитетом издательские безобразия, и на первую в СССР попытку писателя вмешаться в издательское дело ответила инсценировкой скандального уголовного процесса.

Писательская общественность, допуская превращение своих органов в застенок, где безнаказанно шельмуют работу и честь писателя, становится тем самым реальной угрозой для каждого писателя.

Я не принадлежу ни к одному из литературных объединений и не вхожу формально в ФОСП. Я никогда не прибегал к органам Федерации с просьбой рассудить меня с кем-либо и не давал никакого согласия на разбирательство моих гражданских дел в конфликтных комиссиях ФОСПа. Теперь я вижу, что доверять свою честь судебным и третейским органам ФОСПа было бы по меньшей мере опрометчиво. Сделавшись невольным клиентом этих судулиц, я убедился, что они отличаются такой малограмотностью, такой юридической и общественной бездарностью, такой подозрительной гибкостью и восприимчивостью ко всякого рода давлению, что любой профес-

сиональный суд, любую судебную инстанцию нашей не-совершенной и строящейся страны следует предпочесть писательскому трибуналу.

Мне и в голову не приходит смотреть на писателя как на высшее существо и видеть в нем образец гражданских добродетелей, но никто не давал права писателю стоять ниже среднего уровня культуры и эпохи, никто не позволял ему оскорблять правосознание современника и глумиться над здравым смыслом.

Между тем со мной, например, поступили как с проституткой, долгие годы гулявшей по желтому билету и наконец-то пойманной за дебош. Проституция же заключалась в многолетнем труде, а дебош в хорошей и по закону исполненной работе. Разбойное нападение среди бела дня на страницах Литгазеты — обвинительный акт, шулер-фельетонист в роли прокурора, редактор запачканной газеты — председатель суда, лабазные молодцы из редакторской лавки ЗИФа — услужливые свидетели наемные стряпчие-крючкотворы из приказов того же ФОСПа — юридические закрюшники незамысловатого суда.

Когда писатель требует, чтобы его судили сообразно с законами страны, с обычными нормами данной отрасли промышленности и теми условиями, в которых протекает труд его товарищей по профессии, когда писатель требует, чтобы ему ответили, почему он и вот эта, а не другая работа заносится на черную доску, — Федерация бормочет: «Данный инцидент является следствием не частного, а общего явления, характеризующего положение в СССР...»

Когда издательство, внезапно меняя точку зрения на свой договор, начинает легонько по сигналу Литгазеты подталкивать своего сотрудника к скамье подсудимых, Федерация деликатно ему помогает.

Далее Федерация прибегает к бесчестнейшему трюку, подменяя уголовные обвинения литературной критикой по Горнфельду. Дело принимает вид фонарика с разноцветными стеклами: когда нужно — плагиат, когда нужно — халтура.

Когда Федерацию спрашивают, почему за плохие повести, несверенные с действительностью, и за плохие стихи, развращающие вкус, она не судит своих членов, а

за плохую, пусть ужасную обработку Уленшпигеля находит возможным судить «товарищеским» судом, Федерация лепечет что-то невнятное о «сверке с подлинником».

Мне известно, что на конфликтной комиссии от 21-го июня говорилось о позорном пятнышке на моих ризах и о том, что с меня за мое лирическое сладкогласие следует взыскать пострее. Я слов не нахожу, чтобы заклеить всю лицемерную гнусность этих ханжеских речей. Я, дорогие товарищи, не ангел в ризах, накрахмаленных Львовым-Рогачевским, но труженик, чернорабочий слова, переводчик. Я чернорабочий и глыбы книг ворочал своими руками. Какие там к чорту ризы! Я чернорабочий, я издательский негр, но не вам клеймить меня плоским именем халтурщика, котрое вы с такой легкостью выговариваете и которое означает не просто плохой работник, не просто обманщик и лентяй, но означает — холоп, батрак, наймит, работающий сдельщину на ненавистного хозяина и случайно оступившийся, не сумевший потрафить, перепутавший свой каторжный урок. Мой труд никогда не был рабским трудом, и я с пеной у рта отстаиваю свое право на неудачу, право на срыв.

Матерщина — это детский лепет в сравнении с тем, что вытерпели стены Дома Герцена и пасторские седины Канатчикова. Зифовские молодцы же были вытолкнуты в шею, когда с их грязного языка слетело имя жены писателя в сочетании с абортom. Уличенные во лжи молодцы изворачивались под руководством старца Канатчикова:

«...Халтура... скрывается от милиции... не прописывается..»

Стенографистки не было, в протокол не занесено, но свидетели были, были... Мне кажется, что целесообразнее доверить управление делами Федерации королю из свежей карточной колоды, нежели гражданину Канатчикову.

За несколько месяцев фельетон Заславского дал молодые побеги. Радуйтесь, советские писатели, Мандельштам не только литературный вор и плагиатор, но также маклер, жучок, посредник, ловкий проныра, затащивший к себе в трущобу Горнфельда и Карякина. Отпустив с миром ловких скупщиков краденого в их издательскую хазу,

именуемую ЗИФом, Фередация выдает мне справку, что я не халтурщик. Я сохраню эту справку. Я бережно ее пронесу. Я буду заглядывать в нее каждый раз, когда, очнувшись от тошнотворного угара, в котором как бред мелькают совесть, труд, письма в редакцию, суды, чиновничьи маски столоначальников из страшного и последнего департамента литературы — Заславские, Канатчиковы, Рогачевские с мочалкой, я найду в себе силы приняться за прерванный жизненный труд. И тогда неизменно мне представится одна картина — Заславский, Горнфельд и Канатчиков, склоненные над красным комочком — над сердцем Уленшпигеля — и над моим, писательским сердцем.

Судопроизводство в руках ФОСПа я вынужден признать социально-опасным орудием. Ваша организация, присваивая себе функции настоящего суда с уголовной амплитудой, пренебрегает всеми нормами и гарантиями нормального процесса.

1) Тягчайшие обвинения предъявляются человеку публично, в печати, без всякого предварительного расследования — в форме бранного шулерского фельетона.

2) На основе этого фельетона человек путем оглашения в печати предается публичному суду без формулировки обвинения, без обвинительного акта, уже после разоблачения клеветника.

3) Абсурдное обвинение Исполбюро отменяет «дело» ценой полного игнорирования фельетона и характера предъявленных мне обвинений.

4) Несмотря на отмену дела Исполбюро, под каким-то казуистическим предлогом созывается судебная комиссия под председательством заинтересованной стороны, в задачи которой входит в чем угодно обвинить Мандельштама, чтобы спасти престиж Литгазеты.

5) Трибунал, именующий себя «конфликтной комиссией» строится по методу: «Все, кроме подсудимого — полноценные прокуроры», не замечает грубейших противоречий в их показаниях, отказывает в вызове свидетелей, не требует фактов, не формулирует обвинений и выносит юридически безграмотный инсинулирующий приговор.

6) Высший орган ФОСПа — Исполбюро — заслушав это решение, принимает его к сведению, утверждает и запрещает печатать.

7) Из приговора не делают никаких общественных выводов относительно осужденного, не исключают его из организации и не сообщают о его деяниях прокурору.

(Для характеристики «общественной» установки Федерации: когда в «Правде» появился фельетон Заславского «Жучки и негры», комментирующий решение конфликтной комиссии ФОСПа от 21 июня, причем в фельетоне всякими словами утверждалось, что все переводческое дело в СССР построено на эксплуатации полуграмотных негров, которых нанимают за себя писатели с крупными именами, Федерация обошла этот фельетон полным молчанием и не сделала из него никаких выводов).

8) В августе Федерация объявляет печатно о пересмотре дела ввиду наличия «формальных» к тому поводов, но в течение 5-ти месяцев от пересмотра уклоняется.

9) В декабре Федерация внезапно выделяет комиссию, именуемую уже не конфликтной, но «Комиссией для разбора обвинений, предъявленных Мандельштаму Литгазетой». Та комиссия, так же как и первая, отказывается от всякой следственной процедуры, от формулировки обвинений, от оглашения материалов и от вызова свидетелей. Упомянув вскользь о травле и «о тягчайших обвинениях, лишенных всякого основания» (формулировка комиссии), комиссия признает помещение фельетона в Литгазете ошибкой, но на Мандельштама возлагает моральную ответственность за производственную практику советских издательств, о которой ни одним словом не упоминалось в фельетоне.

Все ваши постановления шиты гнилыми нитками, не сводят концов с концами, сами себе противоречат. В них нет настоящего товарищеского голоса, нет настоящего честного, прямого осуждения, ни рукопожатия, ни удара, ни оправдания — ничего этого в них нет. Ваши постановления — это настоящий блуд, приправленный кисленькой размазней прописной морали. Мне стыдно за вас. Мне стыдно уличать старых людей в безграмотности и недобро-

совестности, мне стыдно за молодежь, которая не имеет мужества в нужный момент возвысить голос и сказать свое слово.

Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо было иметь, чтобы после года дикой травли, пахнувшей кровью, вырезав у человека год жизни с мясом и нервами, объявить его «морально ответственным» и даже словом не обмолвится по существу дела.

Вы произносите в своем постановлении страшное слово «травля» — так, между прочим, как какой-то пустячок. Где травили, кто травил, когда, какими способами?.. Укажите виновников или молчите, или вы не смеете говорить о травле...

Мне стыдно, что я как нищий месяцами умолял вас о расследовании. Если это общественность, я бегу от нее как от чумы. Вы умеете не слышать, вы умеете не отвечать на прямые вопросы, вы умеете отводить заявления. Если собрать все, что я вам писал за эти месяцы, то получится настоящая книга — убийственная, позорная для нас всех. В историю советской литературы вы вписали главу, которая пахнет трупным разложением.

Я ухожу из Федерации Советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы.

Спасибо, товарищи, за обезьяний процесс. А ну-ка поставим в дискуссионном порядке, кто из нас вор... Выходи, кто следующий!... Но меня на этом вороньем празднике не будет.

Дорогие товарищи, в этом деле нет никакой розовой водички, никакой литературности, никаких тонких самолюбий, никаких изощренных цветочков писательской этики. Это тяжелое и трудное, громоздкое и страшное общественное дело, то, о чем мы ежедневно читаем в газетах — это злостный удар по работнику, это сворачиванье ему шеи — не на жизнь, а на смерть, где все средства хороши, где все пути дозволены: клевета, лжесвидетельство, крючкотворчество, фельетонная передержка, где все для безнаказанности одобрено разговорчиками о «писательской этике»; это одно из бесчисленных дел, когда не-

угодного работника снимают с поля деятельности бесчестными способами.

Для полноты картины я должен вас информировать о том, что «товарищеское» разбирательство в Федерации было лишь мостиком к уголовному преследованию писателя, о чем было отлично известно ФОСПу. Издательство ЗИФ по сигналу Литгазеты привлекло меня соответчиком по гражданскому делу, причем само спровоцировало этот иск. В гражданских камерах Губсуда и Верховного Суда издательство всеми способами добивалось моего привлечения по 177 ст. Уг. Код., ссылаясь как на главный аргумент на статью Литгазеты и на решение ФОСПа от 21-го июня. На судах дело сорвалось, и поведение Литгазеты было заклеено особым пунктом в решении Верх. Суда.

Итак, товарищи, дело, которое вы называете «претензией ЗИФа и Горнфельда» к Мандельштаму и которое вы сводите к фельетону Заславского, явилось травлей довольно крупного масштаба и от начала до конца делом рук самого ФОСПа.

В данную минуту Федерация готова признать, что травля писателя Мандельштама нанесла объективный ущерб издательской реформе, которой добивался Мандельштам. Но Федерация стыдливо умалчивает о том, что травила Мандельштама она сама, а не кто-нибудь другой, и что преследования были прямым ответом на общественное выступление Мандельштама. Такого рода «увязка» травли с тем, что у нас называется самокритикой, является тягчайшим с советской точки зрения преступлением, но для Федерации Советских Писателей советский закон очевидно не писан, и никакой ответственности за свои позорные деяния она не чувствует и, надо думать, не понесет.

Злоупотребления так называемой юрисдикцией, то есть правом организации судить своих членов — граничит в данном случае с моральным убийством и с общественным вредительством. Предание меня суду Федерацией Писателей в тысячу раз серьезнее, чем самый фельетон. Именно это предание суду я считаю преступлением Федерации по отношению ко мне. Поведение всех моих товарищей — советских писателей — которые, скрестив руки,

готовились к интересному зрелищу — как Мандельштам будет изворачиваться перед Федерацией по обвинению в краже и мошенничестве — пальцем не шевельнули, чтобы предотвратить эту гнусную комедию, я считаю полным основанием для разрыва со всеми вами.

Для Мандельштама Федерация Советских Писателей оказалась полицейским участком, куда его потянули, как никаких объяснений, настойчиво повторяя Мандельштама публично обыскивали в Доме Герцена, и руки всех советских писателей, в том числе и ваши, раз вы входите в Федерацию, шарили по его карманам.

20 лет работы не застраховали меня от нападения организованного писательства. Я допускаю, чт для меня лично начинается с 40 лет работы. Но советское писательство остается по-прежнему организованным, а я, будучи только Мандельштамом, не располагаю аппаратом для самозащиты на второе двадцатилетие — до наступления предполагаемоготета, считаю благоразумным выключить себя из организованной писательской общественности

№ 16. К тов. Гронскому

В течение последних лет литературные организации оказывают упорное сопротивление моему жилищному устройству.

1) С января 31-го года по январь 32-го, то есть в течение года, бездомного человека, не имеющего нигде никакой площади, держали на улице. За это время раздали сотни квартир и комнат, улучшая жилищные условия других писателей.

2) Несмотря на тяжелую болезнь жены, принимавшую в то время угрожающий для жизни оборот, в январе 31-го года отменили решение жилищной комиссии горкома писателей о предоставлении мне даже одной комнаты.

3) Когда это решение под давлением извне было восстановлено, упорно саботировали въезд в дом, так что

физическое вселение удалось осуществить лишь благодаря энергичному вмешательству председателя горкома — т. Ляшкевича.

4) Назначенной мне в этом флигеле комнаты я сразу не получил, а был временно вселен в каморку в 10 метров, где и провел всю зиму. Когда назначенная мне комната освободилась, она была по чьей-то инициативе опечатана, к ней приставили караул из дворника, и мне объявили, что я эту комнату не получу. Лишь благодаря вмешательству авторитетных организаций мне удалось переменить первоначальную каморку на соседнюю с ней, несколько более сухую и просторную комнату.

6) В ответ на мои многократные заявления, что жизнь кучей в одной комнате исключает всякую возможность работать, я был, наконец, на этих днях приглашен на заседание жилищно-хозяйственной тройки в составе Росовского, Павленко и Уткина, причем эта комиссия в моем присутствии вынесла постановление предоставить мне вторую соседнюю комнату в 10 метров. Однако это постановление было сейчас же вслед за этим взято обратно со ссылкой на «объективные причины».

[1932]

№ 17. В Горком писателей

Выслушав позорящий советскую общественность приговор товарищеского суда от 13/IX/32 над Саргиджаном и приняв во внимание, что этот суд организован Горкомом, считаю своим долгом немедленно выйти из Горкома как из организации, допустившей столь беспримерное безобразие. При сем прилагаю. . . .

№ 18. [Отрывок из письма к М. С. Шагинян]

... Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. «зрелого Мандельштама».

5 апреля 1933

1934 март 21

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Поскольку наш телефонный разговор вышел из обычных деловых границ, я считаю необходимым заявить, что в этом были повинны исключительно вы. Назначать за мои рукописи любую цену — ваше право. Мое дело — согласиться или отказаться. Между тем, вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку вашего неуважения к моим трудам. Таким образом покупку писательского архива вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. Безо всякого повода с моей стороны вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью. Все это прозвучало тем более дико, что Литературный музей обнаружил в данном случае самую простую и наивную неосведомленность.

Мне, как писателю, конечно, неприятно, что ошибки, подобные этой, могут подорвать авторитет Литературного Музея Наркомпроса, но ваш способ заставлять выслушивать вами же приглашенное лицо совершенно ненужные ему домыслы и откровенности — вызывает во мне справедливое негодование.

О. Мандельштам.

№ 20. К Б. Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович,

Спасибо, что обо мне вспомнили и подали голос. Это для меня ценнее всякой реальной помощи, то есть — **реальнее**. Я действительно очень болен и вряд ли что-либо может мне помочь: примерно с декабря неуклонно слабею и сейчас уже трудно выходить из комнаты. Тем, что моя «вторая жизнь» еще длится, я всецело обязан моему единственному и неоценимому другу — моей жене. Как бы ни развивалась дальше моя физическая болезнь — я

хотел бы сохранить сознание. Должен вам сказать, что временами оно тускнеет и меня это пугает. Вынужденное пребывание в Воронеже, в силу болезни превратившееся для меня в **мертвую точку**, может оказаться в этом смысле роковым. Одной из наиболее для меня тягостных мыслей является то, что я не увижу вас никогда. Не приходит ли вам в голову, что вы могли бы ко мне приехать? Мне кажется, что самое большое и единственно важное, что вы могли бы для меня сделать.

Привет Зинаиде Николаевне

Ваш Мандельштам

28/IV/36.

Воронеж.

№ 21. **К Б. Л. Пастернаку**

2/1/37.

С новым годом!

Дорогой Борис Леонидович.

Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов.

Я хочу, чтоб ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены — рвалась дальше, к миру, к народу, к детям...

Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» — еще «не все».

Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего.

О. Мандельштам

№ 22. **К Е. Я. Хазину**

[Воронеж, без даты, 1936; май?]

Простите, Евгений Яковлевич, что вас тревожу: положение таково, что я должен вас известить.

Во-первых, Надя уже 2 недели болеет печенью. Она не выходит. Боли не унимаются.

Во-вторых, наше денежное положение очень плохое, а в основе этого вообще и реально очень плохое положение. В театре я получаю почти н и ч е г о. У меня удерживают 100 р. и еще касса взаимопомощи хочет 50 в месяц, а вся зарплата 225 руб. в месяц. Потом я болен, все время волнуюсь, делаю очень много лишних шагов. Но в буквальном смысле я ходить без провожатого не могу. Так напряжены мы оба, что больше не можем. Мы совсем одни. Союз Писателей говорит, что дал мне работу в театре, а я там не работаю. Все время страх и тревога и страшная мертвая точка. На днях с трибуны облпленума писателей было здесь произнесено, что я «пустое место и пишу будуарные (бу-ду-ар-ны-е) стишки и что возиться со мной довольно». Наде дали в газете письма писать, но перестали платить, пока не отработает 200 рублей за мою болезнь. Надя написала две статьи и один очерк (ходила в школу), все не подошло. Она написала уже 150 писем и у нее кружится голова. Это такой ад, что нельзя больше выдержать и не с кем сказать слова. Помогите, потому что нам будет очень худо. Дайте независимый домашний заработок. Просить больше не можем.

О. М.

Отвечайте что угодно, телеграммой дайте любой ответ.

№ 23. К Е. Я. Хазину

[Воронеж] 10/IV/37

Еще раз вам сообщаю, что Надя больна. Ежедневная температура 37,6-9, очень резкое исхудание. Кроме того ежедневно по несколько часов резкие боли в области печени, принуждающие лежать.

Как это ни странно, врачу Надя не показывалась. Чуть ей лучше — забывает. А большей частью нет 20 рублей на профессора, а в амбулаторию ходить не стоит: мы знаем как там внимательны.

До последнего дня Надя температуру от меня скрывала или неправильно объясняла.

Денег у нас на 2-3 дня еще есть. Т.е. попросту 25 рублей. Какое же тут лечение? 10 р. в день на двоих — это минимум, исключающий всякую диету, режим, платного врача и т.д. Что же делать?

Завтра я думаю свести Надю к профессору. Что же касается до Москвы — страшно ее отпускать. Боюсь, как бы не расхворалась, не слегла и мы бы не очутились отрезаны друг от друга. Прежде всего я выясню, что с Надей и что ей объективно требуется, и срочно вам сообщу, — без всяких «скидок» на наше положение. А пока сообщаю одно: больничная клиническая помощь в Воронеже не приемлема (кроме хирургической). Больницы переполнены (терапевтические). Как мне говорил пр. Берке [?] — иногда дают в день до 12 отказов острейшим больным (восп. легких и т.д.) и ни одного приёма. Лежат в коридорах. Индивидуальный уход — минимальный. Значит — или дома, в воронежской комнате — или отправить куда-нибудь на серьезное настоящее лечение. Я прошу вас немедленно поговорить с кем-нибудь из Надиных подруг, нельзя ли ради нее, забыв обо мне, серьезно ей помочь. Сделайте это не дожидаясь диагноза. Состояние так или иначе очень плохое. Образ жизни исключает всякий шанс на поправку. Виды на будущее — скорее отрицательные. Не лишнее вам сообщить, что на днях получили письмо от «Знамени», письмо вполне товарищеское, но с отклонением стихов. Это весьма от радно. Потому что явилось просветом в беспредельной покинутости. Может это хоть немного подымет ваше настроение и поможет вам что-нибудь предпринять для Нади. Поговорите только о ней.

В Воронеже мы начисто изолированы. С 13 числа средства на жизнь, т.е. чай, хлеб, кашу, яичницу — иссякают. Занять не у кого. Надо думать только о Наде. Я готов, как вам уже говорил по телефону, расстаться с ней на какой угодно срок ради подлинного ее лечения, но не ради деловой поездки, которая ей не под силу и может кончиться нашим с ней разобщением. Т.к. Надя похожа сейчас на свою тень. И я не преувеличиваю. Прошу вас поговорить с кем-нибудь из авторитетных людей. И дать мне телеграмму, получив это письмо. Я знаю, вы

и в Москве беспомощны. Но все-таки это Москва. И этим все сказано. На Надю нам нельзя сейчас возлагать никакого бремени. Ее активность сама собою прекращается.

Жду вашего ответа: предварительной ориентировочной телеграммой.

Ваш О. Мандельштам

P.S. Еще сегодня я просил Шуру ускорить Надин отъезд и выезд В. Як. Но после этого узнал о постоянном повышении температуры — и в связи с общей слабостью Нади понял, что ехать ей нельзя. Эта непоследовательность не должна снижать в ваших глазах серьезность моих сообщений. Здоровье Нади, вернее ее болезнь, весьма и весьма запущены, потому что все кажется ничего нельзя сделать (она не все и делает). Но сейчас надо сделать для нее буквально невозможное.

О. М.

№ 24. В редакцию «Знамя»

Посылаю стихотворение «Неизвестный солдат» в доработанном и развернутом виде.

Прилагаемым текстом **отменяется ранее мной присланный.**

Прошу учесть эти изменения при обсуждении моих стихов.

О. Мандельштам

11 марта 37

№ 25. В Секретариат Союза Советских Писателей

[30 апр. 37 г.]

Уважаемый тов. Ставский,

Прошу Союз Советских Писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания воронежского областного отделения союза.

Вопреки утверждениям обл. отд. союза моя воронежская деятельность **н и к о г д а** не была разоблачена обл. отд., но лишь голословно опорочена задним числом.

При первом же контакте с Союзом я со всей беспощадностью охарактеризовал свое политическое преступление, а не «ошибку», приведшее меня к адм. высылке.

За весь короткий период моего контакта с Союзом (с октября 34 г. — по август 35 г.) и до последних дней я настойчиво добивался в Союзе и через Союз советского партийного руководства своей работой, но получал его лишь урывками, при постоянной уклончивости руководителей обл. отделения. Последние полтора года Союз вообще отказывается рассматривать мою работу и входить со мной в переговоры.

Если как художник (поэт) я могу оказать «влияние» на окружающих — то в этом нет моей вины, а между тем это единственное, что мне ставится в вину обл. отд. и кладется в основу убийственных политических обвинений, выводимых из моей воронежской деятельности поэта и литработника.

Располагая моим заявлением к минскому пленуму, содержащим ряд серьезных политических высказываний — Союз, который это заявление принял и переслал в Москву, до сих пор не объявил его двурюшническим, что является признаком непоследовательности.

Принципиальное устранение меня от общения с Союзом никогда не имело места. Летом 35 года мне было заявлено: «мы вас не считаем врагом, ни в чем не упрекаем, но не знаем, как относится к вам писательский центр, а потому воздерживаемся от дальнейшего сотрудничества». После этого Союз рекомендовал меня (протоколом правления) на работу в городской театр.

Считаю нужным прибавить, что моя работа по другим линиям (театр, радиокомитет) не вызвала никаких общественных осуждений и была неоднократно и серьезно использована после соотв. политической проверки. Пресеклась она моей болезнью.

Называя три фамилии (Стефан, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза предоставляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «троцкисты и другие классово-враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым.

В результате меня позорят не за мою прошлую вину, а за то положительное, что я пытался сделать после, чтобы искупить ее и возродить себя к новой работе.

Фактически мне инкриминируется то, что я хотел себя поставить под контроль советской писательской организации.

О. Мандельштам

№ 26. К В. П. Ставскому

[июнь 1937]

Уважаемый тов. Ставский!

Вынужден вам сообщить, что на запрос о моем здоровье вы получили от аппарата Литфонда неверные сведения.

Характеристика: «средне-тяжелый хронический больной» не передает состояния.

По существу это значит «не безнадежный» — и только.

Эти сведения резко противоречат письменным справкам пяти врачей от Литфонда и районной городской амбулатории.

Прилагаю подлинные документы и ставлю вопрос: хочу жить и работать; стоит ли сделать минимум реального для моего восстановления?

Если не теперь — то когда?

О. Мандельштам

P.S. Фактически по медицинской линии Литфонда произошло следующее: меня обследовали (в течение трех недель), причем врачи нашли тяжело больным и — постановили воздержаться от лечебной помощи.

Даже ряд исследований, предписанных проф. Роменковой (терапевт) не был произведен. Окончательный диагноз не поставлен. Меры к лечению не указаны. В лечебной помощи отказано.

БАЛЛАДА О ГОРЛИНКАХ

Восстал на царство Короленки
Ионов, Гиз, Авессалом:
— Лутературы — вырожденки
Не признаем, не признаем!
Но не серебряные пенки,
Советского червонца лом,
И не бумажные керенки —
Мы только горлинки берем!

Кто упадет на четверенки?
(Двум Александрам тесен дом.)
Блондинки, рыжие, шатенки
Вздохнут о ком, вздохнут о ком?
Кто будет мучиться в застенке,
Доставлен в Госиздат живьем?
Воздерживаюсь от оценки:
Мы только горлинки берем!

Гордятся патриотки-венки
Своим слабительным питьем —
С лица Всемирки-Современки
Не воду пьем, не воду пьем!
К чему нам различать оттенки?
Не нам кичиться этажом.
Нам — гусь, тебе — бульон и гренки, —
Мы только горлинки берем!

Envoi:

Князь Гиза, слышишь: к переменке
Поет бухгалтер соловьем:
«Кто на кредитки пялит zenки?
Мы только горлинки берем!»

Бенедикт Лившиц
Вместе с О. Мандельштамом
в ночь на 25.XII.1924

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

(1937 г.)

На откосы Волга хлынь, Волга хлынь,
Гром ударь в тесины новые,
Крупный град по стеклам двинь, — грянь
и двинь, —

А в Москве ты чернобровая
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые
Вызвал губы шепотком...

Как досталась — развяжи, развяжи, —
Красота такая галочья
От индейского раджи, от раджи —
Алексею что-ль Михайлычу, —
Волга, вызнай и скажи.

Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают по верхам, по верхам
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные...
Косит ливень луг в дугу.

Савелово 4 июля

37.

*
**

С примесью ворона голуби
Завороненные волосы.
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе голоса,
Как я люблю твои волоса
Душные черноглубые.

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена ...

Тени лица восхитительны
Синие, черные, белые
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые.
В пальцах тепло неслучайное,
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное.

Мчится, летит с нами едучи
Сам ноготок холодающий,
Мчится судьбу свою знаючи
Сам ноготок холодающий.

Славная вся безусловная,
Здравствуй, моя оживленная.
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.

[1937].

ДАГЕСТАНСКАЯ АНТОЛОГИЯ: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки, лезгины, турки, таты, ногайцы. Составил и комментировал Эффенди Капиев, ГИХЛ, стр. 256.

Книга составлена в историческом разрезе: безыменное народное творчество, знаменитые певцы прошлого века, гремевшие далеко за пределами родного аула, но доверявшие свою поэзию только памяти односельчан, потому что родная речь не имела грамоты, дальше — поэты и литераторы буржуазно-просветительской эпохи, выбившиеся «в люди», живавшие и учившиеся в столицах, дальше — изумительное по революционной жизненности и верности родному народу поколение молодых писателей-революционеров с незабываемым Гарун Саидовым во главе; наконец, сегодняшняя советская литература Дагестана, создаваемая участниками и организаторами стройки, усвоившими большевистскую теорию, людьми, совмещающими, как, например, лакский поэт Черинов, интерес к мировой литературе, работу над Пушкиным и Шекспиром с сельскохозяйственной научной подготовкой.

Восемь глав сборника: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки и т. д. — это ущелья, по которым обособленно развивалось творчество народов Дагестана.

Для составителей книги, знающих главные языки Дагестана и чувствующих форму каждого поэта, такое деление кажется закономерным, но в сглаживающем русском переводе читатель, восемь раз окунаемый в прошлое и восемь раз переживающий революционный перелом, невольно путается и устает.

Если в старом Дагестане были замечательные поэты: например — аварец Махмуд и даргинец Бажирай (предисл. Эф. Капиева), то надобно было бы их выделить, поручив перевод мастерам русского стиха, чтоб сохранился размер, напев и словесный узор. Того же Махмуда Дзахо Гатуев излагает частью свободным стихом, частью зарифмованной прозой. Получается как бы длинная выписка изречений в арабско-персидском вкусе. Между тем, дагестан-

скому народному творчеству свойственна энергия и узорность, сближающая поэтов с злато-кузнецами — оружейниками.

Каждой насечке узора соответствуют удар, искра. Слово в горской песне берется в тиски для выпрямления, скребком очищается от окалины, куется на подвижной наковальне, чеканится не только снаружи, но и изнутри, как сосуд.

Большинство стихов дагестанского сборника в русской передаче лишены материальности, словесной активности. Даже неловко выписывать такие строчки, как «соловей поет зарею, беззаботно и игриво» (перевод Вугаевского из Етим Эмина — крупнейшего лезгинского поэта, о котором готовит монографию Дагестанский научно-исследовательский институт).

В самом начале книги радуют прекрасные переводы Андрея Глобы «Тюрьма царская проклятая» и «Салтинский мост».

Если б цепь порвать!
Если б дверь сломать!
Если б аргамак мой
Подо мной опять!

Составители не сочли нужным сообщить, связаны ли переводчики наказом приближаться к точной форме подлинника или работают по вдохновению, натягивая текст подстрочника на более удобную для них русскую колодку. Поэтому о пьесах Глобы можно лишь сказать, что в них удачно скрестилась новая советская лирика с народной дагестанской темой.

Гей, почему все черешни в цвету
И скворцы поют?
Гей, почему на Салтинском мосту
Барабаны бьют?

Глубоко впечатляющую песнь хунзахских партизан «Смерть большевика Муссы Кундховы» перевел Александр Шпирт. Вот доказательство, как много может сделать даже лишенный особых лирических данных переводчик, если он уважает свой материал.

В селенье Цацан-Юрт приехал ты
И на субботник шел, наш друг Мусса,

И на дороге встретили тебя
Отравленные мезтью кулаки.
Большевика хотели обмануть,
Пожатьем рук хотели обмануть,
Чтоб руки вывернуть, чтоб повалить, —
Уловкой взять хотели хробраца.

Хунзахская песня — высокий образец революционного чувства: нежность к погибшему товарищу, горе, просветленное уверенностью в победе, наивная сила крестьянской речи — так кстати, так по-агитационному умно подчеркивающей конкретное в биографии Муссы — открывают этой пьесе дорогу в широкий массовый репертуар, несмотря на большие стилистические срывы.

Однако, я сейчас же оговорюсь, что в дагестанском сборнике очень немного стихов, достойных войти в русский литературный обиход, и это тем более досадно, что большинство дагестанских лириков распевает свои сочинения, владеет голосом, как поэтическим оружием, и органически не может создавать мертвых вещей.

Политические лозунги дагестанская лирика всегда поворачивает к родной стране, национально окрашивает, бережно доводя их содержание до вчера еще неграмотного, жадного слушателя. Никакой риторики и строения образа у дагестанских поэтов нет, а в переводах она есть.

Когда поэт Шамсудин говорит: «Светлая свобода с мудрыми порядками, мощная и стройная, как в русле река», — нужно иметь в виду, что мощная и плавная река для горца — новый образ, уводящий его из домашнего кругозора. Горная речка узкая и стеснена скалами. Вот почему, говоря о партии, которая принесла в тесный аул мировую революцию, дагестанский лирик начинает свежим для него образом равнинной реки.

В переводе, очевидно, все сдвинуто, смещено: у реки завелись порядки, ей приписан невозможный строй, а величавое ее течение техническими средствами стиха не передается.

Сытое великодержавное невежество мешало дагестанцев в одну кучу с кавказцами вообще. В громадном и нищенском ауле Кубачи работали чеканщики в бараньих шапках. В городах европейской России ютились кустари-

отходники — выходцы из маленькой дагестанской народности лаки — лудильщики по профессии. В губернском городе они продолжали трагедию домашнего существования: неуменье помочь друг другу, так прекрасно характеризованное в песне Гаджи Ахтинского:

Мы слова, нужного двоим,
Вдвоем не сложим, Дагестан.

Бедняки-лудильщики становились хозяевами поневоле и били по голове учеников-подростков, выжимая из них «прибавочную стоимость», чтобы спасти саклю от продажи с публичных торгов, и кинжал с узорной насечкой находил свое место в трагедии. Обезумевшие, забытые подмастерья обкрадывали хозяев. Дело шло к развязке, деньги оборачивались кровью: «Эй... Голова моя в огне... Это не я, не я убил... Держите. Шестьсот тысяч рублей... Держите. Люди, где вы, люди?.. Смилуйтесь. Эй, мальчик. Иди. Иди, укажи мне дорогу в Багдад...»

Об этом рассказывает лакский драматург Гарун Саидов — студент Коммерческого института, вернувшийся в Дагестан делать революцию и зарубленный контрреволюционными бандитами в 1919 году в расцвете замечательных творческих сил.

В пьесе Гарун Саидова роль трагического вестника исполняет почтальон с телеграммой, которую никто не может прочесть, потому что все неграмотны.

Надо ли удивляться, что в дагестанской фольклорной, только на днях сложенной песне о культштурме говорится:

О, желанной, как солнце красное,
Грамоте будем петь...

Переводчик Зайцев правильно понял свадебную заповку этого стихотворения.

Не следует подходить к поэзии современного Дагестана с укороченной, облегченной меркой. У дагестанских авторов за плечами большая словесная культура родного народа. У них взыскательные и творчески одаренные слушатели.

«Писатели переключаются на отображение величественных процессов, меняющих лик страны. Наиболее зна-

чительным произведением, рисующим развернутый образ горца, пришедшего на завод, является поэма лезгинского писателя А. Фатахова «Ударник Гассан» (цитирую предисловие Капиева). В этой поэме пейзаж дан набором готовых линияло-акварельных красок: «В голубой, небесной чаще звезд сияющая россыпь», речь по газетному очерку: «план четвертого квартала выполнен наполовину». Сюжет строится по способу благополучного развития: премированный колхозник-ударник на заводе. Лирическая поэма превращается в какой-то разжевывающий аппарат. Читательский интерес убывает по мере развития темы.

Поэма Фатахова — быть может, почетная для молодого лезгинского писателя неудача, но все же срыв. Если даже ее обесцветил переводчик, — остается мертвенность сюжетной композиции.

Дагестанской прозы составители сборника как будто стесняются и называют ее схематичной. В этом они глубоко не правы. В дагестанской прозе большое скованное, оригинальное и недоразвитое мастерство. Молодые авторы, о которых идет речь, правильно угадали, что прозаическое искусство состоит в извлечении максимального общего эффекта из подробностей, из частных. Их внешне бессюжетные вещи без натяжки детальны, без дробности подробны, что редко случается с нашими молодыми прозаиками.

«По густо-синему небу с коротким клетотом, чертя зигзаги, вился стервятник. Он парил от одного хребта к другому, словно штопал невидимыми нитями зияющую между горами пропасть» (Шахабудны Михайлов).

«На засаленной жирной странице журнала крестики посещаемости напоминают жирную баранту...»

«Мертвые каменные переулки...» «Пышные воротники шуб...»

Надо поблагодарить тов. Эффенди Капиева и Дзахо Гатуева за прекрасно задуманный сборник и глубоко проработанный материал. Несомненно, они сделали все от них зависящее для прочного знакомства нашего читателя с дагестанской поэзией. Но следовало бы отвести наиболее равнодушных и слишком ловких переводчиков, сообщить в предисловии принципы перевода, вкратце сказать о ладе и музыкальном сопровождении дагестанской на-

родной песни (не упомянуты даже инструменты) и, наконец, кроме ценнейших сведений, вкрапленных в биографические справки, дать общую характеристику советской дагестанской литературы, как содружества и как организации.

СТИХИ О МЕТРО. Сборник литкружковцев Метростроя. Гослитиздат, 1935 г. 87 стр.

В одной из шахт Метростроя на Смоленской площади работали люди 34 профессий (резинщики, химики, формовщики, мебельщики и др.) — так велика была тяга к работе на Метрострое.

В другом участке работы пом. директора кинофабрики обучал пришедших к ним на Метрострой киноработников тоннельному мастерству: так бесконечно много давала квалификация на Метрострое, общение с этим университетом социалистического труда.

Один из строителей — бывший чернорабочий, четырнадцатилетним мальчиком спустившийся в шахты Донбасса, — пройдя метростроевский стаж, заговорил в печати о «стиле работы».

Почти каждый выступающий на страницах прессы участник Метростроя считает нужным сближать социалистический труд с художественным творчеством, и нередко о труде говорят в терминах искусства.

В шахте под Свердловской площадью комсомолка Пания напевает, работая, арию: «Не счесть алмазов в каменных пещерах», и, быть может, в двух шагах, в Большом театре, звучит та же ария — поразительное было бы совпадение.

«Кто первым дорвется до юрских глин?» — интересный лозунг соревнования. Вдумайтесь в него: строители метро научно разбираются в геологических пластах и эпохах. В толщу времени эти люди, озабоченные тем, чтобы построенные их руками тоннели выдержали давление грядущих веков, вторгаются, как полновластные хозяева: изучить строение породы, победить ее сопротивление, выр-

вать у нее свободное пространство, залить его светом, наполнить движением, социалистической радостью.

«Большое дело, громадное дело соорудил. Вынуть сто тысяч кубометров одного грунта и уложить двадцать тысяч кубов одного бетона, не считая облицовки и других работ. И вот получается роскошная станция — Крымская площадь. Мрамор, Свет. Колонны. Рельсы, сверкая, уходят вдаль... А ведь подумать, каждый из нас стоял на своем маленьком участке, борясь с водой, с плывунами, — каждый в отдельности кажется таким беспомощным! Метро — это победа коллектива».

К лирическому сборнику «Стихи о метро» нельзя подобрать лучшего эпиграфа, чем эти слова. В них дан ключ к пониманию лирики метростроевцев.

Первая встреча бригады с «непонятной, тяжелой землей», «тихий, но строгий бетон» (его нужно укладывать по два куба в день), и через три года — подземные дворцы, в описании которых созидавшие их поэты теряются, проявляют беспомощность, потому что старые слова для описания роскоши и великолепия здесь неприменимы, потому что в самосозерцание здесь входит новый элемент, момент новой эстетики: эти предметы созданы нами.

Стихи о метро подобраны любовно, внутренне спаяны и стоят примерно на одном уровне выполнения. Отдельные строки и стихотворения выделяются особо над этим уровнем, но у читателя все же преобладает впечатление, что сборник написан одним автором, но в разных манерах. (Наиболее четкая поэтическая индивидуальность у тов. Кострова). Тематика книги: организаторский энтузиазм, размах работы, связь с партией, ценность законченного труда, углубление товарищеской солидарности, трудность работы, ответственность перед будущим («тоннелям надо выдержать века»), ощущение работы, как памятника, который коллектив воздвигает себе в эпохе.

Поэты-метростроевцы ни на минуту не забывают, что им помогла строить вся страна, что вне первой и продолжающей ее второй пятилетки Метрострой был бы невымыслим, превратился бы в утопию...

Звонил, находясь на Урале,
Молнировал из Сибири

И в шахту спускался прямо,
Окончив дела в ЦК.

Здесь в четырех отлично выверенных строчках передан размах огромной политической работы, даны связанные между собой географические дистанции, показана техника рабочего дня ... работника ЦК и выражен стиль этой работы.

И вот я обращаю внимание на то, как хороши, как уместны в этом маленьком отрывке глаголы — т. е. носители действия: звонил, молнировал, спускался.

Поэт, забывший о глаголе, все равно что летчик или шофер, заснувший у руля.

Сложные технические процессы, то и дело упоминаемые поэтами, слиты с душевными переживаниями « будь то сознание исторической ответственности величия работы, радость напряжения творческих сил, будь то личное чувство — к девушке — товарищу по бригаде.

Не сказал я, что, когда с тобою
Мы носили гравий на замесы,
Брался я за ручки так, что вдвое
Для тебя был ящик легковесней.

(Бахтюков)

Лирической вершиной этой маленькой книжки «Стихи о метро» я считаю одно стихотворение Кострова:

Да здравствуют
Товарищи мои,
Ведущие подземные бои,
Идущие сквозь пльвуну
И камень,
Скводь толщи глин,
Прессованных веками,
Сквозь черный сумрак
Неживых ночей!
Товарищи, несущие в ночах
Большое дело
На своих плечах.

.
Работники
Простого благородства,

Художники труда
И производства,
Ведущие великие мои, —
Да здравствуют
Товарищи мои!
Товарищи,
Чьих дел глубокий след
Останется в земле
На сотни лет.

Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, начиная с пушкинского «Да здравствуют музы, да здравствует разум» и хмельных языковских здравниц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух. Поздравляем товарища Кострова с отдельной удачей и тут же оговоримся, что он наделал в сборнике Метро множество поэтических ошибок.

Потери такой
Нам нисколько не жаль,
Ты был работником средним.

Напрасно Костров думает, что о средних работниках нужно писать плохо и вяло. Этот вид соответствия формы и содержания поэзию не устраивает.

Следует отметить, что книга метростроевцев содержит ряд свежих стихов о Москве. И это естественно, потому что метростроевцы, выходя «на-гора» и сменив спецовки на обычный костюм, напряженнее чем когда-либо вслушивались в биение жизни города, вглядывались в толпы, в улицы, и после грохота кессонных работ старый знакомец — «трамвайный язык», как говорил Маяковский, был им люб и дорог. «Ползет вода — змеистая, кривая, сверкучая от желтого луча» (Смирнов); у него же: «осеннее чувиньканье синиц».

Бахтюков держит поэтическую связь с Метростроем даже тогда, когда говорит откуда-то с черноземов:

Как широко распахнуты просторы,
Какое море смелой тишины!

Лирическим героем стихов о метро является, в сущности бригада, а не отдельный человек. Вера Лихтерман говорит именно о бригаде с той детальной зоркостью и внимательностью, которую старая поэзия применяла только к отдельным людям:

Переливчато звенит
Просеиваемый гранит.
На ресницах иней пыли,
Глянь, — бригада вся седая.

Побольше внимания к деталям словесной работы литкружковцев...

Не замечая этих маленьких удач, не называя по имени их авторов, мы обескуражем поэтов: поэты хиреют от суммарных оценок, они становятся беспризорны от невнимательно рассеянной критической ласки.

Если бы лирики метро в стихах своих работали по большому и дальнозоркому плану, как у себя на производстве, если б работа их ощущалась ими самими, как литературный цех Метростроя, они достигли бы больших результатов. Как на формальные недостатки их работы следует указать на недостаточную емкость строфы, а также на однообразие и автоматичность ритмов. В словарном отношении книжка богаче, чем большинство аналогичных сборников, и это признак культурного роста.

Можно также пожелать поэтам большей свободы в построении образа и в развитии лирической темы. Ведь для советского поэта работа над лирическим стихотворением также является ударной стройкой, и материал для этой стройки, как бы обслуживая ее, доставляет вся страна, вся социалистическая действительность, понятая как целое.

Г. САННИКОВ. ВОСТОК. Стихи и поэмы 1924-35 г. Москва. ГИХЛ, 1935 г.

В посвящении книга определяется самим автором как пока еще неполное собрание сочинений.

Санников, бывший участник поэтической группы «Кузница», с первых шагов прекрасно овладел техникой куль-

турного традиционного стиха, обновленного и омоложенного усилиями лучших символистов.

При этом у Санникова наблюдается учет достижений футуристической поэзии. Новое звучит у него приглушенно, под сурдинку, в мягкой оболочке старого. Первый раздел книги Санникова хронологически совпадает с романтическими выпадами Н. Тихонова и Багрицкого. Уже значительно позднее, в одном из лирических отступлений в поэме «Египтяне», Санников говорит, характеризуя этот свой период:

Я вместе с Байроном угрюм,
На бурю променяв покой,
Запоем пил из звездных рюмок
Ночей тропических настоек.

По земному шару, который Маяковский обошел почти весь и всерьез, Санников начал весьма рискованное путешествие с Чайльд Гарольдовской командировкой, давно утратившей всякий конкретный исторический смысл.

В этих стихах 26-27-го года стучат машины океанских пароходов, волчьей шкурой сереет вздыбленная вода. Радио трубит в ответ стонущим путешественникам фокстроты, шимми и чарльстоны. Океаны бессмысленны и дики — они не наши, чужие. Следующий отдел «Пески и Розы». Язвы Востока прикрыты классической поэзией, мозаикой мечетей. Жалкая, постыдная жизнь и певучие сказочные узорные ковры:

Я тебе расскажу, красавица,
Только ты не хитри, не клянись,
Красота твоя очень славится,
Но ни к черту не годна жизнь.

В подражаниях персидскому Санников удачно воспроизводит скупую лирику классиков пустыни, певцов небытия:

Поднимается ветер,
Заметет следы,
Не будешь и ты.

А в совсем недавнем (34 г.) обращении к Фердоуси говорит:

Мы в твой народный славы гул
Поэзии вплетаем ветви
И при твоём тысячилетьи
Несем почетный караул.

«Песнь о городе Тавризе» посвящена тегеранскому восстанию 1908 года: тегеранские базары, море барашковых папах...

Когда поэт показывает свою лабораторию, это может быть и ценно и интересно: мысль борется с новым материалом. Но я решительно отказываюсь назвать «поэтической лабораторией» большую часть опытов Санникова, посвященных росту народного хозяйства и технологии; скорее это кухня, не умеющая обращаться с продуктами.

Я имею в виду самые интересные по замыслу, деловые главы «Каучука» и «Египтян».

Должны быть созданы нормы —
Научно обоснованная монополия...

.
Вопрос о длине волокна
Для пролетарского государства
не безразличен.

Санников злоупотребляет свойством всякой разумной речи распадаться на смысловые единицы: обыкновенные части фразы он выдает за стихи... «Комиссия ... в акте, на месте происшествия написанном, установила объективно...»

Хочется лишь выправить расстановку слов в таких стихах, как это сделал бы любой газетный корректор.

Это тем более досадно, что Санников стремится расширить область поэзии и чувствует огромную ответственность перед нашей современностью.

Он прощается с самодовлеющими, условными формами лирики, в которых мог спокойно преуспевать на радость эстетам. Но такая тематика, как наука — революционная практика — борьба и жизнь масс, требует творчества, а не списывания, хотя бы из блестящей газетной статьи или учебника химии.

В лучших отрывках своих поэм Санников достигает «сложной простоты» — редкое умение, которое всегда радуется в лирике.

Ничто не нарушает сна,
Повсюду шерстяные тени
И кажет голые колени
Над городом луна.

В «Каучуке» Санников говорит о горном каучуконосном растении тау-сагызе, словно о романтическом кавказском герое эпохи Марлинского:

При шапке крупного размера
Листвы игольчатой с лица
Он выглядел довольно дико...

Блеском романтического костра озарено случайное открытие каучуконосного растения.

Здесь не что иное, как черпанье новизны при помощи старого ковша или искусное омоложение дряхлеющего литературного канона; иногда стихи Санникова звучат, как дурная копия с «Эды» Баратынского, переложенного на хлопок.

Между тем автора горячо интересует стык между наукой и классовой борьбой. Каждая поэма изображает цикл классовых боев, протекающих в трудной и своеобразной обстановке среднеазиатских республик, и надо признать, что с расширением тематики лирическое дыхание автора заметно окрепло: «Песня комсомолки» в «Египтянах», баллада о коврике Пенде Гюль, который пламенеет в клубе рика с портретом В. И. Ленина, замечательные ткацкие баллады, фрагмент « в невеселом городе Тавризе, где сады, сады, полюбил я лирику Гафиза и простую мудрость Саади», — все это связано своим рождением перевороту, перелому, наступившему в творчестве Санникова. Дело теперь для поэта уже не в узорности, не в орнаментике, как в таковой, не в изощренности так называемого восточного искусства, которое в «Египтянах» иронически названо супрематистским. Шерсть, из которой ткуются ковры, прополоскана в коровьей моче. В цветных нитях бегут труды и дни дехканства.

Но читатель вправе спросить, удалась ли Санникову его основная задача.

Необходимо указать, что в «Каучуке», несмотря на его перегруженность научными формулами, несмотря на песню шелестящих шин, настойчиво требующих труда, изобретательства, социального творчества, основное дей-

ствии, т. е. борьба за советский каучук в обстановке классовых боев, дано сквозь дымку условной романтической поэмы. Байская дочь Рейхан, у которой отца раскулачили и отправили в Караганду, — «казачка, похожая на Офелию». И в этом последнем обстоятельстве, конечно, никакой беды нет, но плохо то, что функционально, в силу нагрузки образа, эта кулацкая Офелия, поднимающая Алаш-орду против Кызыл-аскеров с феодальным знаменем, на котором начертан старый закон — Адат, оказывается героиней второй поэмы, просвечивающей сквозь первую.

Крепнущие кадры всевозможных специальностей, которые так дороги Санникову, не могут быть поэтически характеризованы с помощью переключки сегодняшнего героя и, например, Алеко из пушкинских «Цыган». Для того, чтобы связать диалектическую часть «Египтян» с романтической подосновой, Санников охотно прибегает к пародии, к едкой лирической иронии. Так сравнивает он растерявшегося от личных и общественных неудач Кречетова с тенью Петрарки, вздыхающего по Лауре в долине реки Сарги, и говорит о «кречетовской луне». Подобными нитками, однако, не заштопаешь разрыва.

В «Египтянах» не существует второй просвечивающей поэмы. Восстание басмачей здесь не опоэтизировано по Марлинскому, как авантюра Рейхан в «Каучуке». Разрыв идет по другой линии: между изобретательной и деловой частью поэмы — «куполообразная, беспамятная, старая, окаменелая мечеть Тимура». Тут же рядом бешенное и сложное движение:

Шумная тачанка
Гражданская подруга
Ухарство и лихость
Махновских ночей.
Тронулся навстречу
Город полукругом...

Санников великолепно понимает огромное историческое значение советской химии. Он сознает всю глубокую связь между творческими поисками этой революционнейшей отрасли нашего научного мышления и методами поэзии. Однако он только учится химии на глазах у чита-

теля, сдает свои зачеты: «Углерод четырехвалентен; одновалентен всегда водород». «Полимеризация даст переворот — диметилдивинил элементов. Диметилдивинил или $\text{CH}^2 = \text{C}(\text{CH}^3) = \text{CH}^2$ ». Все это правильно и к поэзии (здесь мы расходимся с любителями «изящного», как такового) имеет самое близкое отношение: но здесь ровно ничего не сделано для взаимного сближения поэтической и химической мысли. Научный термин — только словесный знак, насыщенный понятиями. Водород — самый подвижный элемент в органической химии. Перемещаясь, вступая в соединения, он работает с удивительной дерзостью, как гимнаст на трапедии. Санников же работает на узорчатом персидском коврикe. Высоту тимуровой мечети он изображает хорошо, а дерзость органической химии передает экзаменационным лепетом.

Иногда с поэтом случаются курьезы, потому что для социально ценного содержания он не умеет найти естественной поэтической формы.

Для промышленного применения
Через колбы, реторты и сетки
Достижения советского гения,
Не предусмотренного пятилеткой.

Настоящий балаганный раешник, речь ярмарочного зазывалы с бойкой и нелепой рифмовкой отвлеченных слов.

Традиционно прозрачные «бахчисарайские» строфы перемежаются с многоярусными формулами социологии и химии, грубо уложенными в стихи. Автор на одной странице бывает красноречив и многоязычен, традиционен, как старообразный школьник, и лихорадочно современен, как мастер революционного репортажа. Зрелость, косность, подражательность и новизна удивительно совмещаются в одном поэте.

Поэмы «Каучук» и «Египтяне» похожи на ранние географические карты с неосвоенными пространствами. Санников, например, берет в типографскую рамку интересные цифровые сводки, нумеруя их как строфы. Цифры сами по себе замечательно выпуклы. Но какое здесь неуважение к числу, непонимание образной творческой природы числового мышления. Чтобы цифры советской статисти-

ческой науки заговорили поэтическим языком, надо и над ними проделать такую же положительную работу, как и над словом. Голое цитирование даже самого замечательного факта — только типографский прием. Никакой дерзости и новизны в этом приеме нет. Гораздо важнее то, что происходит внутри поэтического хозяйства Санникова, т. е. внутренняя сдача позиций белому пятну поэтически не освоенного факта. При этом всегда условно сохраняется видимость, и только видимость оживленного лиро-эпического рассказа, и больше того: манера автора всякий раз в таких случаях приобретает невероятную бойкость. Образное оживление таких мест идет за счет воспоминаний из древней истории: «по Геродоту, солдаты Ксеркса были в хлопковых одеждах, Искандер, прободая Персию, видел муслины нежные»...

Но как только дело доходит до прозаического мяса, до упорствующего сырья, — Санников решительно перестает изобретать, но стучит на пишущей машинке:

А дело в том, что добровольно
Никто не вызвался поехать
На саранчевый фронт возглавить
Борьбу за хлопок многопольный.

Метрически однозначные девятисложные строчки являются здесь обыкновенными единицами прозаической речи, притом очень дурно построенной, т. к. естественная живая проза не терпит однообразия: абсолютно однородные части не соединяются в ткань.

Сотрудничество советского поэта с широчайшими кадрами строителей социализма, с работниками науки, с колхозниками, с красноармейцами должно быть поэтически образующей силой, должно найти свое прямое отражение в самой структуре произведения, в каждой клетке поэтической ткани. Когда Санников заканчивает: «Египтянин победил», т. е. высокосортный, культурный хлопок засеял сотни тысяч колхозных гектаров — с исторической необходимостью, несмотря на все происки врага, то хозяйственная победа является здесь последним звеном поэтической композиции.

Однако нельзя передоверять своей поэтической работе даже рожденном в коллективных усилиях жизненно-

му факту, нельзя украшаться этим фактом, только регистрируя его.

Научная формула должна претворяться в дышащее слово, сложнейшие элементы строительства — в поэтическую химию — в единый и целеустремленный стиль. Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве.

АДАЛИС. ВЛАСТЬ. Стихи. Советский писатель. Москва, 1934 г.

Пишет Адалис так легко и лихорадочно, как будто карандашом на открытках, начав на одной и продолжая на другой. Кажется, она стоит в зале телеграфа, дожидаясь, пока освободится расщепленное перо на веревочке, или же из междугородной будки, задыхаясь, передает лирическую телефонограмму:

— Достать стихи. Узнать, отчего происходят стихи. Подойти как можно ближе к тем людям и делам, ради которых и благодаря которым пишутся стихи.

Прежде всего необходимо дышать не для себя, не для своей грудной клетки, а для других, для многих, в пределе — для всех. Воздух, который мы в себя вобрали, нам же не принадлежит, и меньше всего тогда, когда он находится в наших легких.

Второе, и это второе очевидно первее первого, это то, что я назвал бы убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать.

И вот мы получили книжечку стихов — сестрински-нежных и матерински-гордых, товарищески-открытых и в то же время деловитых, служебных, озабоченных, командировочно-спешных стихов, которые требуют помощи и сами хотят помочь.

Мы должны быть благодарны Адалис за то, что у нее нет собственнического отношения к теме.

Лирическое себялюбие мертво, даже в лучших своих проявлениях. Оно всегда обедняет поэта.

Когда я читал книжку Адалис, у меня было ощущение, будто я одновременно нахожусь и в степи, где по

жесткой смете, «на базе бурого угля» строится новый город, и в Армении на голубых рудниках Арагаца, и на улице Архангельска, где «рабочая ночь» пахнет озоном и северолесом, и в совхозе «Бурное», где сидят в полумраке на соломенных тюфячках за удивительной беседой о социализме и скрипке Гварнери. Адалис говорит:

Так дико я близок с чужими людьми и делами,
Что часто мне кажется, мир есть мое продолженье.

Прелесть стихов Адалис почти осязаемая, почти зрительная в том, что на них видно, как действительность, только проектируемая, только задуманная, только начертанная, только начерченная, набегает, наплывает на действительность уже материальную.

В литературе и в кино это соответствует сквозному плану, когда через контур сюжета или картины уже просвечивает то, что должно наступить.

В лирике это соответствует состоянию человека, который набрел на правильную мысль, уверен, что ее выскажет, именно поэтому боится ее потерять и всех окружающих убедил и заразил своим волнением.

Море приобретает глубокий цвет синей кальки чертежника.

Граница, отделяющая страну от хищных соседей, отмечена и характеризуется мирными новостройками.

Сады, гитары и моря Италии идут на описание шахтерского городка, который возникает чуть южнее завода.

Сон, виданный в раннем детстве, запах бузины, жары и орехов, красные шары на спинках выгнутых мостов — вытряхиваются из памяти через десятки лет и продолжают, как свежая работа: населяются каменщиками из Тамбова и Торжка, получают прививку минуринского винограда, оглашаются «безбрежным влажным пением» во время обеда и отдыха трудящихся.

Дитя не вернется в утробу,
И хлеб не вместится в зерно,
Как слива не втянется в завязь, —
И в этом их тайная честь.
Мы больше не можем обратно
В звериные норы пролезть.

Даже мысль о том, что лирическая работа совершается только поэтами, дика и чужда Адалис. Это — тоже звериная нора, куда нельзя залезть обратно.

И вот Адалис всеми силами старается доказать, что за нее лирически думают и чувствуют все те, кого она называет товарищами, друзьями. Как заводы для обогащения руды — руды социального переживания, поставлены у Адалис встречи и в еще более глубоком ряду стоят рассказы встречных о тех других, с кем сталкивались они. Трое товарищей, которых кто-то приволок к себе в комнату читать бюллетени о взятии южанами Шанхая, и мимоза, бросавшая в этой комнате тени на крутящийся потолок, — потолок крутящийся, потому что на улице в это время пробегали фары первых автомобилей «Амо», — и купленный на радостях для четверых литр столового, чей вкус запомнился вместе с мимозой и Шанхаем, — все эти элементы не составляют никакой цепи, никакого искусственного сцепления и могут рассыпаться в любую минуту, потому что сейчас же соберутся в другом месте, в другом сгустке, в других сочетаниях, потому что ничто социально пережитое не пропадет.

И это качество новой лирики, избавляющее ее от необходимости дрожать за то, что порвется хрупкая нить ассоциаций, что выпадает петелька из кружева, что в развитие темы проникает что-нибудь чужеродное, нарушающее строй, — это качество выступает у Адалис, как доверие к жизни во всей ее перекатной полноте.

Цель поэта только создать и поставить перед читателями образ, но также соединить впечатления, кровно принадлежащие читателю, но о связи которых он, читатель, живой носитель этой связи, еще не догадывается, хотя чувствует ее...

Дорога на Балаклаву на автобусе, столы, накрытые в саду (быть может, на курорте, а быть может, и в совхозе), стеклянные шары нагретого степного воздуха, радость футбола и радость яблока получают у Адалис эмоциональную округленность, единство — внутреннюю форму, социальную спайку.

Адалис рассказывает о неумении своих современников бросать начатую работу — единственном из неумений, которое составляет наше богатство и наше счастье.

Книжка ее одновременно и гордая, и робкая — одна из первых ласточек социалистической лирики, избавляющей поэта, т. е. лирически работающего конкретного человека, от хищнической эксплуатации собственных чувств, снимающей с него ревнивую заботу о поддержании своей исключительности.

Стихи заняты, стихи озабочены. Им некогда любоваться собой...

А мастерство?

Послушайте, что говорит Адалис о Багрицком.

Нам голос умершего друга
В глубокую полночь звучал...
По радио передавалась
Былая повадка сполна.
Едва выносимая жалость
Шатала меня, как волна...
Сердитый, смешной и знакомый
Он громко дышал и хрипел,
Он громко о жизни зеленой
О воинской свежести пел...

Это и есть мастерство.

М. ТАРЛОВСКИЙ. РОЖДЕНИЕ РОДИНЫ. Стихи. Гослитиздат. 1935 г.

Для характеристики поэта очень важен его инвентарь: круг предметов, привлекающих его внимание. Не менее важно и то, что говорит поэт об этих вещах. Но самый простой и сухой перечень явлений, остановивших на себе внимание художника, определяет профиль его творчества.

Вообразим невероятный случай: поэт пишет только о саксонском старом фарфоре, окружает его размышлениями глубоко идейного порядка, делает исторические выводы и перебрасывает от кофейного сервиза тематический мостик к современности. Но без блюдечка с цветочками и ободочками он шагу ступить не может. Все у него начинается от бабушкиного кофейника. Как бы «идеоло-

гически» ни пыжился этот воображаемый уродливый поэт, ясно, что у него получится чепуха, что он перелицованный пассаист, что он насквозь фальшив.

Случай Тарловского гораздо сложнее. Книжка его называется «Рождение родины». Тема — преодоление архаики во имя будущего. Посмотрим, чем же интересуется Тарловский, куда тяготеют его живые вкусы, что он видит в современности.

В Москве роют землю для метро. Тарловскому уже становится интересно. Почему? Вырыли кость мамонта, нашли кусок кладбищенской парчи, докопались до петровской шпаги, а в конечном счете добрались до помойной ямы Ивана Калиты. «Конечно, мы были бы рады, разрезав Москву пополам (?), найти в ее профиле клады, зарытые некогда там, — алмазы, червонцы, лампы»...

Дальше для нейтрализации лампадной рухляди — метро само по себе объявляется кладом и зарокотом (?).

Настоящей исторической наукой, геологическими или палеонтологическими интересами в этих стихах даже не пахнет: поэтический мир Тарловского — это паноптикум, т. е. ненаучное собрание курьезов и т. п. редкостей, грубо и бессмысленно щекочущих естественный интерес к прошлому, раздражающих дешевой пряностью и лишенных всякой познавательной ценности.

Протест против музейной чехарды и чертовщины, в которой упражняется Тарловский, следовало бы заявить от имени исторической науки. Поэт говорит: «Старина ни в чем недопустима; Русь — татары? — мимо, мимо: останавливаться, как в кино, строго-настрого запрещено». Эти возмутительные ухарские строчки, призывающие к невежеству, написаны в то время, когда углубленное преподавание истории становится одной из основных задач советской школы.

Тарловскому нужен между прочим «гиньоль» — театр ужасов. О Пугачеве он обмолвился: «где, катом подъятый с размаху, деленный (?) мигнул Пугачев». Извращенно-гурманский намек на четвертование. Безвкусное смакование техники этого акта. Петр женил стрельцов на тугой пеньковой девке; они влезли в эту даму головами и держались в ней до утра. Не знаешь, что отвратительнее — сама петровская казнь или развязность, с которой о ней

повествует Тарловский. Но поэт с головой залез в собственный словарь. Абсолютно чуждым нашей культуре языком перестраивающегося сноба-гробокопателя и смакователя старины он пробует передать свое отношение к современности, и получают такие перлы, как например: «рослый советский детина».

Тарловский на речном трамвае плывет по Москве-реке. Вот его поэтический маршрут: удельная Рязань, удельный Суздаль, пепел — тишайший царь, «самозванный» стяг, кремли, струги. Все это поминается для того, чтобы сейчас же отплеваться, и сейчас же переход к действительности: девочка-подросток Маша, грамотная только первый год, читает по складам вывеску: «Машин, но строительный завод». Мало того, что здесь нелепое сюсюканье: в Москве в 31-м году очень трудно было найти подростка, грамотного только первый год. Тарловский бессознательно искажает факты.

Если он расскажет про обсерваторию, то противовесом к ней или дополнением обязательно является старая мечеть. Для Тарловского это две половинки одного ореха. Механистический стих Тарловского — продукт разложения и распада акмеистических приемов. Поэт настолько лишен чутья и вкуса, что способен зарифмовать «парикмахер» и «пахарь».

Тарловский обладает поэтическим темпераментом, упрямством, изобретательностью, но ему необходимо стать в простые, ясные, свободные от бутафории отношения к жизненной правде.

Только тогда он освободится от эстетического хлама и перестанет любоваться историческим мусором.

В этом смысле наиболее типичны вещи «Бог войны» и «Вопрос о родине». В первой пьесе «бог войны» — с «бердышом (?)» и с сигарой забрался на ресторанный поплавок и заказывает «человеку» шашлык из человеческого мяса. Во второй — боги японского олимпа лишают загробного олимпа белогвардейского прохвоста за то, что он вредил своей родине. Стремление к хлесткости, к дешевому версификаторскому блеску мешает Тарловскому серьезно развить большую тему. Даже наиболее заостренные вещи страдают ломкостью, хрупкостью или перегружены эстрадностью и пряной анекдотичностью.

Примечания

Принятые сокращения:

ВРСХД — Вестник Русского Студенческого Христианского Движения (Париж, Нью-Йорк, Москва).

ВРХД — Вестник Русского Христианского Движения (Париж, Нью-Йорк, Москва).

БП — Осип Мандельштам, Стихотворения, Библиотека поэта, Москва 1973.

496. *О, красавица Сайма*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП. Приложено к письму к матери (см. стр. 109) от марта 1908 г., где сказано «маленькая аномалия: «Тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии. Вот еще стихи о Финляндии.»
497. *Музыка твоих шагов*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. Без даты, конец 1908 г.
498. *В непринужденности творящего обмена*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и в составе примечаний в БП, стр. 255. «Своеобразная поэтическая декларация молодого Мандельштама» (Н. Харджиев). Вдохновляясь им или отталкиваясь от него, Мандельштам всю жизнь благоговел перед Тютчевым. О Верлене Мандельштам упоминает впервые в письме из Парижа к В. В. Гиппиус: «Кроме Верлена я написал о Роденбахе и Сологубе...» (март 1908 г.). По свидетельству М. Карповича, М. читал ему вслух, с большим воодушевлением, стихи Верлена, и тогда же перевел стихотворение «Je suis venu calme orphelin...». В декабре 1909 г. посылая Вячеславу Иванову стихотворение «На темном небе как узор» М. пишет, что оно хотело бы быть «romance sans parole» (Dans l'interminable ennui...). Наконец более подробно о Верлене говорится в статье 1910 г. посвященной Франсуа Виллону: «...Верлен разбил *serres chaudes* символизма», а также в стихотворении ему посвященному («Старик»). В 30-х годах М. «заново купил Верлена, Бодлера, Рембо» (Н. Мандельштам).
499. *Довольно лукавить: я знаю*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974, без даты, конец 1908-начало 1909 г.
500. *Пилигрим*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974, без даты.
501. *Сквозь восковую занавесь*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
502. *...коробки*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. По всей вероятности стихотворение не было окончено.
503. *Листьев сочувственный шорох*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП.

504. *В изголовьи черное распятие*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. В предпоследнем стихе цитата из стихотворения Тютчева «Наполеон».

Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн, —
Но о подводный веры камень
В щепы разбился углый челн.

(1836)

505. *Стрекозы быстрыми кругами*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
506. *Медленно урна пустая*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
507. *Я знаю, что обман в видении немислим*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП.
508. *Когда подымаю*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
509. *Дождик ласковый, тихий и тонкий*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. Разночтение: стих 1, *мелкий* и *тонкий*.
510. *Не спрашивай: ты знаешь*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП. Разночтение: стих 12, *убийственный магнит*.
511. *В белом раю лежит богатырь*. Впервые в составе публикации А. Морозова «О. Манделыштам в записях С. Каблукова», ВРХД, 129, II, 1979.
512. *Дочь Андроника Комнена*. Впервые в БП в составе примечаний «Соломинка». Посвящено Саломее Николаевне Андрониковой. Упоминается в записях С. Каблукова как мадригал, который «скоро будет опубликован».
513. *Железо*. Впервые в ВРХД, 118, II, 1976. Об этом стихотворении Манделыштам упоминает дважды в письмах к жене: «Хорошо ли железась?» (№ 55). «К подборке прибавь «Стансы» плюс «Железо» (№ 57 от 26 мая 1935).
514. *Тянули жилы, жили были*. Впервые в ВРХД, 118, II, 1976.
515. *Ты должен мной повелевать*. Публикуется впервые. Сообщил Ю. П. Иваск.
516. *Мир начинался страшен и велик*. *Russian Literature*, V, 3, July 1977. Разночтения, по списку хранящемуся в архиве:
с. 6 добровольный.
с. 7 твой каменноугольный.
517. (*Стихи о Сталине*). Полностью впервые по списку сохранившемуся в архиве. С пропуском одной строки напечатано в *Scando-Slavica*, t. 22, Copenhagen, 1976, pp. 35-41. С тем же пропуском и без последних четырех строк в *Slavic*

Review, vol. 34, № 4, december 1975. Подробно об этой «Оде Сталину» пишет Н. Я. Мандельштам в *Воспоминаниях*, стр. 216-220.

«Перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12-го января 1937 года — переломный момент — и конец щеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг «Оды»...

У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. О. М. завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал: бумага и карандаши ведь требовались только в конце работы. Но ради «Оды» он решил изменить свои привычки...

...Искусственно задуманное стихотворение, в которое О. М. решил вложить весь бушующий в нем материал, стало ниткой целого цикла противоположно направленным, враждебным ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца «Второй Тетрады»...

...«Ода» все же была написана, но своего назначения не выполнила и О. М. не спасла... Начало 37 года прошло у О. М. в диком эксперименте над самим собой. Взвизгивая и настраивая себя для «Оды» он сам разрушил свою психику. «Теперь я понимаю, — сказал он Анне Андреевне, — это была болезнь»...

...Уезжая из Воронежа, О. М. просил Наташу (Штемпель) уничтожить «Оду». Многие советуют мне скрыть её, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной: двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды. Только О. М. сделал это с веревкой на шее... Ахматова — когда веревку стягивали на шее у ее сына. Кто осудит их за эти стихи?!...»

Строки 73-76 были ошибочно напечатаны в *Собрании Сочинений* как самостоятельный отрывок.

518. Приводится в статье М. Карповича «Мое знакомство с Мандельштамом», *Новый Журнал*, 49, 1957, стр. 258-261.
519. Живя в Берлине, Мандельштам хотел ответить на письмо старшего своего друга С. Каблукова стихотворением, которое не удалось. Мандельштам запомнил из него строфы, которые Каблуков приводит в своем дневнике под датой 24 октября 1910 г. См. публикацию А. Морозова в ВРХД, 129, 11, 1979.

520. Печатается по архиву. Примыкает к «Отрывкам из уничтоженных стихов», № 239. Ср. у J. Baines «Mandelstam: the later poetry», Cambridge, 1976, p. 39.
521. Сообщено Н. Я. Мандельштам J. Baines. Примыкает к «Отрывкам из уничтоженных стихов».
522. Печатается по архиву. Разрозненные строчки.
523. Печатается по архиву. См. Н. Мандельштам, *Вторая книга*, Париж, 1972, стр. 87.
- 524-527. Приводится со слов Н. Я. Мандельштам J. Baines в её книге о позднем Мандельштаме (*op. cit.*).
- 528-530. Сообщено А. А. Морозовым.

Эпиграммы, шуточные стихи.

Общую характеристику шуточных стихов дает Н. Я. Мандельштам в своих воспоминаниях.

«Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к Моргулису, ко мне и Ахматовой». (*Вторая книга*, Париж, 1972, стр. 144-145).

531. Печатается впервые. Обращено к актеру С. И. Антимонову. «Загадка и разгадка» — пьеса «из испанской жизни» В. Трахтенберга, исполнявшаяся в «Кривом Зеркале».
532. Печатается впервые.
- 533-540. *Маргулеты*. А. О. Моргулис, переводчик, член правления Союза писателей. «Близкое знакомство с О. Э., пишет вдова А. Моргулиса, произошло уже в Ленинграде (1925-1927), тогда Мандельштамы жили в Лицее, мы часто бывали у них, они — у нас. И после переезда Мандельштамов в Москву наши отношения не прервались — мой муж чуть ли не еженедельно бывал в Москве по ходу работы. О. Э. очень нежно любил моего мужа. Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. О. Э. постоянно читал нам стихи. Сам очень радовался рождению каждой «Маргулеты». ВРХД, 129, II, 1979. Во всех «маргулетах» Моргулис, вероятно по ошибке, пишется через «а».

В первом томе Собрания Сочинений напечатаны две «маргулеты» под №№ 434-435.

- 533-535. Впервые Н. Я. Мандельштам, *Вторая книга*, Париж, 1972, стр. 144-145.
- 536-540. Впервые в составе публикации А. Григорьева и Н. Петрова. «Мандельштам на пороге 30-х годов», *Russian Literature*, V, 1977.
541. Печатается впервые. Сообщено Ю. Иваск. Юлий Матфеевич Вермель, зоолог, двоюродный брат филолога Д. Усова.
542. Печатается впервые. Сообщено Ю. Иваск.
543. Печатается впервые. Сообщено Ю. Иваск. «Он почти что Чаадаев» — намёк на родство с Е. С. Норовой.
544. Печатается впервые по архиву.
545. Печатается впервые по архиву. Сергей Рудаков, любитель стихов и сам сочинитель, пользовался в 30-х годах доверием О. Мандельштама, по свидетельству Ахматовой, не вполне оправданным (была, как будто, попытка выдать стихи Мандельштама за свои). Погиб на фронте.
- 546-547-548. Экспромты посвящённые Наташе Штемпель, с которой Мандельштам дружил в Воронеже. См. № 448 в первом томе *Собрания Сочинений*.
- 548^{BIS}. Впервые в Осип Мандельштам, *Воронежские тетради*, Ardis 1980, стр. 116.

Переводы

549. Этот перевод только половины знаменитого стихотворения Малларме «*La chair est triste, hélas...*» был подклеен С. Каблуковым к сборнику «Камень». В Дневнике от 18.8.1910, Каблуков пишет: «я вполне соглашаюсь с некоторыми его суждениями об Анненском и Малларме, как о великих поэтах».

Н. Я. Мандельштам: «В юности он как-то пробовал переводить Малларме — ему посоветовал Анненский: учитеесь на переводах. Но ничего из этого не вышло и О. М. убеждал меня, что Малларме просто шутник. И еще — Гумилев и Георгий Иванов будто дразнили его такой строчкой: и молодая мать — кормящая сосна, то есть со сна» (*Вторая книга*, стр. 258). Вероятно, это был первый вариант перевода «*Et ni la jeune femme allaitant son enfant*», где «со сна» могло рифмовать со словом «белизна» (*ni le vide papier que la blancheur défend*). Во всяком случае образ кормящей матери не сохранен в переводе.

550. Мандельштам познакомился с Тицианом Табидзе в 1921 году, в Тифлисе. Вероятно этот перевод был сделан тогда же и был опубликован в сборнике Н. Мицишвили в 1921 г.

551. Сообщено Викторией Швейцер, которая в 1968 г. подготовила сборник переводов Мандельштама для выходящей в издательстве «Прогресс» серии «Мастера поэтического перевода», но книга не вышла.

«Избранные отрывки из старо-французского эпоса» были предложены Госиздату Мандельштамом в мае 1922 г., но были отвергнуты по трём причинам:

1. Неизвестно, на какого читателя рассчитана.
2. Отрывки мало показательны.
3. Перевод слаб.

Из старо-французского эпоса Мандельштам напечатал при жизни лишь отрывки «Сыновья Аймона» (сначала в «России», а затем в сборнике «Камень» 1923 г.). В первом томе *Собрания Сочинений* появились два других отрывка «Жизнь святого Алексея» и «Алисканс».

Мандельштам выбрал из «Песни о Роланде» наиболее драматические места: отказ Роланда трубить в рог (от стиха 1070 по стих 1151), смерть Оливье (от стиха 1978 по стих 2023), смерть Роланда (от стиха 2338 по стих 2417), сон Карла (от стиха 2512 до стиха 2740) и поход язычников (от стиха 2512 до стиха 2740), смерть Альбы, невесты Роланда (от стиха 3705 до 3733).

Отказ Госиздата конечно был вызван повышенной религиозностью выбранных Мандельштамом отрывков. «Песнь о Роланде», сочиненная вероятно в XI веке, была высоко оценена в XIX веке почти всеми историками литературы, за исключением Брюнетьера.

«Ничего преднамеренного, никакой заботы об эффекте не нарушает предельную простоту рассказа. Стиль... не вклиняется между действием и стихом: нет словесного изобретения, нет личной субъективности в передаче фактов... Не читаешь, а видишь» (Густав Лансон).

«Во всех 4000 стихах имеется лишь одно сравнение... Но настоящая поэзия не состоит из одного этого элемента, и надо принять во внимание красочность, ритм а, главное, возвышенность мысли» (Пети де Жюлевил).

Мандельштам прекрасно передал строгим, но живым стихом возвышенную простоту «Песни». И не случайно он выбрал места, повествующие о чести не взвращающей на

страх, о подвиге мужественном и веселом, не ради славы, а ради любви к своему Богу и людям.

552. *Паломничество Карла* одна из самых старинных французских песен, не лишенная юмора и пародийности.
553. *Коронование Людовика*. Сын Карла Великого, Людовик был императором Запада с 814 по 840 год.
554. *Берта — большая нога*. Мать Карла Великого умерла в 738 г.
- 555-557. Впервые в ВРХД, 115, I, 1975, стр. 183-187.

«В Воронеже он вольно перевел Неаполитанские песни для ссыльной певицы с низким голосом» (Н. Мандельштам, *Воспоминания*, Нью-Йорк, 1970, стр. 148).

Нами был разыскан сборник, с которого, вероятно, переводил Мандельштам: «150 celebri canzoni popolari napoletane per canto e pianoforte colla traduzione italiana. Raccolte del Maestro Vincenzo de Meglio».

Песни написаны на неаполитанском наречии.

546. *La Marenarella*, musica di G. Torrente.
Разночтение, стих 23-24 С солнцем и с бурей
Дружен челнок.
547. *La vera sorrentina*.
Разночтения, стих 3 В черно-красном, с галунами
В лучшем платье появилась
стих 4 Всех милее нарядилась
стих 11 Где звезда моей удачи
стих 20 Говорит: причем здесь я?
Ускользает как змея
стих 35-36 Горе мне не видно суши
С маяка звонят все глуше
стих 40 Не скучает без меня
Равнодушна, смерть моя.
548. *Cannetella*. Приводим здесь первые строки песни в оригинале:
Non mme fa la nremprecella
Cannetella oje Cannetè.
Daje audienza a sto schefienza,
Scui che sta sempe attuorno a te!
Cannetella oje Cannetella,
Cannetella Cannetè.

В переводе неаполитанских песен Мандельштам придерживался ровно обратных принципов по сравнению с

работой над древне-французским эпосом: здесь его интересовало передать особую фонетику южно-итальянских песен и их эмоциональную образность. Для этой цели он позволял себе смелые отклонения от буквального смысла оригинала.

Отброшенные строфы.

Нумерация дана по *Собранию Сочинений*.

(505) БП, стр. 307. Стояло между строфами 2 и 3.

(11) Печатается по автографу находящемуся в архиве. Стояло после первого двустипшия.

(48) В беловом автографе служила заключительной строфой. (БП, стр. 261).

(181) БП, стр. 309, где напечатано по беловому автографу из архива Лозинского с его пометой: «О. Э. Мандельштам, недовольный первой редакцией стихотворения, свел его к восьмистишию, отбросив две начальные строфы».

Первоначальные редакции

Восстановлены по вариантам, приводимым Н. Харджиевым в БП. Нумерация дана по *Собранию Сочинений*.

(74) Аббат. БП, стр. 267.

(82) Федре. БП, стр. 269-270.

(107) БП, стр. 311.

(266) БП, стр. 294.

(338) БП, стр. 301.

Варианты отдельных строф.

Нумерация дана по *Собранию Сочинений*. Варианты № 13, 175, 218 печатаются по архиву. Остальные — из комментария Н. Харджиева в БП.

Шуба. Впервые в «Советском юге», 1922, 1-го февр. Очерк долго считался утерянным. Как пишет Кларенс Броун со слов Н. Я. Мандельштам, сестра бывшего украинского премьера Христиана Георгиевича Раковского организовала в Харькове частное издательство «Истоки», для которого просила О. Мандельштама написать критический этюд (статья «О природе слова» появилась отдельной брошюрой) и воспоминания о Петербурге. Издательство вскоре закрылось. От ненаписанных тогда воспоминаний остался только этот отрывок. Над статьей, в виде шапки вероятно от редакции, заглавие: «Дневник сменовеховца».

Образ Шубы, переосмысленный и зачительно расширенный, лег в основу заключительной главы «Шум времени», озаглавленной «В не по чину барственной шубе». В ней Мандельштам перекидывает свою шубу на плечи В. В. Гиппиус, затем К. Леонтьева и наконец облакает в нее всю русскую литературу XIX века.

В газете «Советский Юг» издававшейся в Ростове, Мандельштам напечатал ряд очерков: «Батум», «Письмо о русской поэзии», «Кое-что о грузинском искусстве», «19 января».

Возможно, этот очерк был первым толчком к книге воспоминаний «Шум времени», где «Шуба» стала заключительным аккордом.

С В. Б. Шкловским Мандельштам в 20-х годах находился в приятельских, если не дружеских отношениях.

Гротеск. Впервые в «Обозрение театров гг. Ростова и Нахичевани н/Д.», 1922, № 5 (10), 25-28 янв. Мандельштам приводит стихи А. Ахматовой по памяти, путая строчки и некоторые слова.

Кисловодск весной. Впервые в журнале «Экран», 12, 1927. О пребывании Мандельштама в Кисловодске ничего не известно.

Отрывок из статьи «Пушкин и Скрябин». Печатается впервые по единственному черновику, хранящемуся в архиве (Принстон). В черновике этот абзац перечеркнут. Публикация в *Собрании Сочинений* требует исправлений:

стр. 317, второй параграф, следует читать:

Христианская, я определил бы точнее католическая радость Бетховена...

стр. 318, третий параграф, следует читать:

и через это получает глубокий религиозный смысл

стр. 319, третья строка сверху, следует читать:

Православная мистика энергично отвергает

восьмая строка, продолжается:

архитектоника звучного мгновения, великолепная архитектоника в полуночном разрезе звучности и почти аскетическое пренебрежение к формам...

Отрывок из «Статьи о переводах». Впервые в ВРХД, 120, где дан ошибочно более пространный отрывок, который на самом деле является вариантом из Статьи о переводах (*Собрание сочинений*, стр. 428, пятый параграф).

стр. 428, седьмая строка снизу, вариант:

«К ответу ГИЗ, ЗИФ, «Молодую Гвардию», «Прибой». Пусть немедленно выскажется в печати тов. Халатов. Пусть федерация Писателей сигнализирует тревогу. Пусть профсоюз с их мощной библиотечной сетью поддержат кампанию, которую мы сейчас начинаем, не в виде голословного ханжества, не в виде мелких щипков, от которых повизгивают злополучные переводчицы и даже не почесываются работники ГИЗ'а, а в виде крупной реформы, ревизии, революции в этом деле, которое должно пройти все стадии чистки, ревизии и ломки..».

Этот вариант вероятно был отброшен как слишком резкий.

Татарские ковбои. Впервые в «Советском Экране» № 14, 6 апреля, 1926 г., с. 4. Редакция журнала снабдила эту рецензию следующим примечанием:

«В этой статье дается чрезвычайно резкая оценка одной из наших «экспедиционных» картин. Не будучи, в общем, высокого мнения об этой постановке, редакция, однако, в силу своего нескрываемого пристрастия к советскому кинопроизводству, была бы очень рада, если бы знатоки Крыма могли смягчить жестокость вынесенного тов. Мандельштамом приговора.

Поэтому мы пока не считаем этой оценки решающей и окончательной. В ближайших номерах «Советского Экрана» мы продолжим обсуждение этой фильма.»

Шпиун. Впервые в Russian Literature, V, 1977. (Публикация Ю. Фрейдина).

Кинорецензия на фильм «Шкурник», он же «Знакомое лицо», по рассказу В. Охрименкс «Цыбала», работы режиссёра

Шпиковского. Николай Григорьевич Шпиковский (род. в 1897) режиссировал художественные фильмы до конца 30-х гг., потом стал документалистом.

О пьесе А. Чехова «Дядя Ваня». Впервые в ВРХД, 120, по рукописи, написанной рукою Н. Я. Мандельштам и без последних четырех параграфов, зачеркнутых. Затем в Russian Literature, V, 1977, с заметками Ю. Н. Левина. «Интересно ... отметить, что Чехов — если не считать этого наброска, практически не упоминается у М.: есть одно лишь случайное безоценочное упоминание в Шуме времени (*Собр. Соч.*, т. II, стр. 95) да еще в статье о художественном театре (т. III, стр. 99.)». «Для М., основой мировосприятия которого были категории единства, ценности и цели, начала и конца, роста и цветения, внутриличностной и социальной организации как предпосылки свободы, задача, решаемая Чеховым, неестественна и невозможна ...».

Из радиопередачи о Гёте. Отрывки не вошедшие в основную публикацию. Печатается впервые по машинописи из архива.

Из внутренней рецензии на книгу А. Коваленкова.

Отрывок напечатан в составе статьи К. Ваншенкина «Лица и голоса», «Вопросы Литературы», 3, 1977, стр. 128. Судя по всему, к той же рецензии относится отрывок, напечатанный в т. III, стр. 191-192.

Письма

- № 1. Впервые по рукописи из архива в ВРХД. Стихи о Финляндии см. в настоящем сборнике под № 492.
- № 2. Печатается впервые. «До нас постоянно доходили непристойные рассказы из Коктебеля, распространяемые поклонницами Волошина, и Мандельштам очень резко на них реагировал. Сохранилось его письмо к Федорченко, побывавшей в Коктебеле и послушавшей тамошних рассказов». (Н. Мандельштам, *Вторая книга*, стр. 100).
- № 3-7. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, в составе большой публикации под редакцией Н. А. Струве «Материалы к биографии Осипа Мандельштама».

Большинство сохранившихся писем Мандельштама написано к жене, Надежде Яковлевне Хазиной (род. в 1900 г.). В редкие периоды вынужденной разлуки Осип Мандельштам писал жене чуть ли не каждый день, помимо частых звонков и телеграмм. Самая долгая разлу-

ка тянулась с перерывами больше года, с октября 1925 по декабрь 1926 года, когда Надежда Яковлевна дляправления здоровья жила в Крыму. Чтобы платить за пансион, Мандельштаму пришлось закабалить себя переводческой работой так, «что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями. Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врёт, как хорошо складываются дела и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте» (Н. Мандельштам, *Вторая книга*, 1972, стр. 269).

В *Собрании Сочинений*, т. III, напечатано 39 писем, относящихся к этому времени.

- № 3. Открытка. Дата по штемпелю. Примыкает к письму № 11 в *Собрание Сочинений*. ...контракт на Рабле — этот контракт не состоялся (см. ниже письмо к Ионову).

последние страницы «коврика» — возможно, речь идет о первой попытке прозы, о которой Н. Мандельштам рассказала в своих воспоминаниях. Мандельштам сначала влюбился в ковер, купленный на толкучке, затем опомнился и «убеждал меня, что в нашем быту нет места для огромного музейного ковра... Ковер исчез из нашей жизни, а Мандельштам, тоскуя, начал что-то царапать на бумаге. Это был рассказ о ковре в московской труппе. Он быстро оборвался, листочки канули в сундук и пропали в тот час, когда им было положено» (*Вторая книга*, стр. 214-215).

- № 4. Открытка. Дата по штемпелю. О. Мандельштам прожил в Крыму с 15 ноября 1925 г. до конца января. В *Собрании Сочинений* есть письмо, написанное накануне в Севастополе на вокзале: «...Все время буду писать с дороги» (№ 14).

- № 5. На купоне денежного перевода. Дата по штемпелю. Весной 1926 г. Мандельштамы вместе жили в Царском Селе, но осенью Надежда Яковлевна вернулась в Крым: «Зачем я тебя сослал к морю, как Овидия какого-нибудь?» (№ 39).

- № 6. Открытка. Дата по штемпелю.
маялся с газетой — вероятно ленинградская «Вечерняя Красная Газета», в которой Мандельштам напечатал два очерка.

Надежда Яковлевна вернулась только в декабре 1926 г.

- № 7. Письмо. Дата не установлена.

- № 8. К ОТЦУ. Печатается впервые по рукописи из Архива. Первый лист утерян. *Сегодня обедает ...* речь идет вероятно о брате Александре Эмильевиче.

М. Н. — Марья Николаевна Дармолатова, мать покойной жены Евгения Эмильевича.
с Женей — брат Евгений Эмильевич.

№ 9. Печатается впервые. Речь идет о вечере памяти поэта Ф. К. Сологуба, умершего 5 декабря 1927.

Людмила Николаевна — жена писателя Е. Замятина.

Пламенный Круг — восьмая книга стихов Ф. К. Сологуба, вышедшая в 1908 году.

В. А. Пяст — (188 -1940) русский поэт символист.

№ 9-15. Все эти общественные письма касаются переводческой деятельности О. Мандельштама. Впервые напечатаны в ВРХД, 120, I, 1977 стр. 240-255.

Переводческая деятельность О. Мандельштама еще мало изучена. Список переведенных, вернее, обработанных им книг, напечатанный в *Собрании Сочинений*, далеко не полный. Переводами, разумеется, Мандельштам занимался ради заработка, но подходил к ним, как к одному «из самых трудных и ответственных видов литературной работы». «По существу, писал он, это создание самостоятельного речевого строя на основе чужого материала».

Однако условия работы, ее малооплачиваемость и срочность, скоро привели поэта к столкновениям с заказчиками, а затем и к открытому разрыву.

Письма к Венедиктову и Ионову, а также первое обращение в Федерацию писателей отображают эту борьбу Мандельштама за достойные условия перевода.

№ 10. К ВЕНЕДИКТОВУ.

Венедиктов — член правления издательства ЗИФ.

Нарбутом — Нарбут Владимир Иванович (1880-1944, погиб в лагере) поэт-акмеист, после революции работал в советской печати, был директором организованного им издательства «Земля и Фабрика».

«Антикварий» — т. VI Собрания романов Вальтер-Скота под редакцией и в обработке Б. Лившица и О. Мандельштама вышел в 1928 г. (536 стр.).

«На дне трюма» Майн-Рида в переводе и под редакцией и с примечаниями О. Мандельштама вышел в 1929 в количестве 10.000 экземпляров. Примечания носят сугубо технический характер, в основном, они посвящены описанию разных пород рыб, птиц и животных. В подробном описании вредности крыс есть и такой более современный штрих: «В дни гражданской войны, во время интервенции 1921 года, когда в Батуме появились чумные заболевания, англичане взяв город под карантин, уничтожили всех крыс».

Всего в этом томе имеется сорок примечаний. Мандельштам перевел еще четыре тома из собрания сочинений Майн-Рида (см. *Собрание Сочинений*, т. III, стр. 699).

№ 11. К И. И. ИОНОВУ.

Письмо сохранилось в машинописной копии, страницы разрозненные. Ответа на него не последовало. В марте через Я. З. Черняка Ионов объявил Мандельштаму, что никакого соглашения на почве этого письма быть не может.

Ионов — псевдоним Ильи Ионовича Бернштейна (1887-1942, репрессирован), член КПСС, издатель, заведовал ГИЗом.

Лившиц Бенедикт Константинович (1887-1939, погиб в лагере) поэт, критик, теоретик футуризма, автор воспоминаний «Полутороглазый стрелец» (1928). Как сопереводчик Майн-Рида на титульном листе не упоминается. Упомяну хотя бы *Даудистеля «Жертва»* или *«Тартарена»* — Мандельштам перевел эти книги в 1926 и 1927 в издательстве «Прибой».

№ 13. Заявление связано с третейским судом, перед которым предстал Мандельштам по обвинению в плагиате. Мандельштаму было поручено издательством ЗИФ обработать и проредактировать старые переводы «Уленшпигеля» А. Горнфельда и В. Карякина. На титульном листе нового издания издательство самовольно поставило имя Мандельштама как единственного переводчика. Хотя и не виновный в этой оплошности, Мандельштам «считал себя морально ответственным перед товарищем по переводной работе... первый известил ничего не подозревавшего Горнфельда и заявил, что отвечает за его гонорар всеми своими литературными заработками» (Письмо в «Вечернюю Москву» в № 288, перепечатанное в *Собрании Сочинений*, т. III, стр. 477). А. Горнфельд все же решил в открытом письме в «Вечернюю Красную Газету» обвинить Мандельштама в литературном воровстве. Вероятно по указаниям свыше, это обвинение подхватил журналист Давид Заславский, поместивший грубую статью в «Литературной Газете» от 7-го мая 1929 г. (30 лет спустя тот же Заславский будет участвовать в заурении Пастернака.)

№ 15. Это общественное письмо, сохранившееся в поврежденной редакции, послужило материалом для «Четвёртой Прозы».

Разбойное нападение среди бела дня — речь идет о фельетоне Д. Заславского в «Литературной Газете» от 7 мая 1929 г.

не ангел в ризах, накрахмаленных Львовым-Рогачевским — Львов-Рогачевский (Василий Львович Рогачевский, 1873-1930). Критик и литературовед, меньшевик, после Революции стал на позиции марксизма и «вульгарно-социологических объяснений литературных явлений». *пасторские седины Канатчикова* — Семен Иванович, род. в 1879. Большевик с 1903, примкнул к литературному движению в 1924, был секретарем ФОСПа и редактором «Литературной Газеты» с 1929 по 1931.

№ 16. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, стр. 255-256.

О жилищных трудностях Н. Я. Мандельштам написала жалобу самому председателю Совнаркома В. Молотову: «Все эти годы, у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру. Уезжая в Армению, мы потеряли свое жилье и остались буквально на улице. Та работа, на которой может быть использован Мандельштам, не может дать ему квартиры. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе.

Но существует же какой-то жилищный фонд, и нужные люди у нас не остаются на улице. Один раз нужно счесть не спеца таким человеком, а поэта, чтобы он не метался из города в город, нища пристанища. Если это невозможно в Москве, то нужно устроить Мандельштама хотя бы в одном из южных городов.

Я повторяю, что это не просто бытовые неувязки, а вопрос о праве на жизнь. Позади — долгие годы борьбы и труда; не под силу изворачиваться, искать мелких заработков, бегать по редакционным прихожим за работишкой. А именно это предстоит Мандельштаму, если не будет решительного вмешательства в его судьбу. Ему помогли оправиться от болезни, но причины, приведшие к заболеванию, не устранены... Если раз навсегда не устроить Мандельштама, то каждый год его будет загонять в тупик и роскошные санатории будут чередоваться с настоящим бродяжничеством». (Сборник *Память*, I, Нью-Йорк 1978).

Квартиру Мандельштам получил, наконец, в ноябре 1933 г. и проклял ее в стихах как подачку верноподанным писателям:

...Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель —
Такую ухлопает моль...

...И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Но пользоваться ему пришлось ею недолго: в марте 1934 года Мандельштам был арестован, а затем сослан. Так до второго ареста и смерти снова потянулись годы «беспризорности во всесоюзном масштабе».

№ 17. Печатается впервые.

Саргиджан — Сергей Петрович Бородин, род. в 1902, до 1941 выступал под псевдонимом Амир Саргиджан, с 1943 член КПСС, автор исторических романов. Бородин вместе с некоей Татьяной Дубинской жил в том же доме Герцена, что и Мандельштам, и, по свидетельству Н. Я., им было поручено следить за связями Мандельштамов. После одной стычки во дворе, Бородин ворвался в квартиру Мандельштамов и сильно ударил Надежду Яковлевну. О. Э. обратился к товарищескому суду Горкома писателей, который, под председательством А. Толстого, вынес двусмысленный приговор, осуждавший обе стороны, при чем Толстой сослался на полученные приказания свыше (Clarence Brown, *Mandelstam*, Cambridge 1963, p. 127).

Весной 1934, в Ленинграде, Мандельштам отомстил А. Толстому, ударив его по лицу. Считалось, что арест 1934 связан и с этим инцидентом.

№ 18. Печатается по БП, стр. 294.

Личностью его — имеется в виду Борис Сергеевич Кузин, биолог (1903-1973), с которым Мандельштам подружился в 30-м году. К Б. С. Кузину относится стих: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». В конце 1932 Б. С. Кузин был арестован, но через два месяца освобожден. Впоследствии арестовывался вторично. Личность Б. Кузина описана О. Мандельштамом в «Путешествии в Армению».

№ 19. К В. А. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. Впервые в сборнике *Память*, II, Париж 1979, стр. 435-436. Публикация И. Флаттерова.

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873-1955) партийный деятель, создатель и первый директор Государственного Литературного Музея, собрания архивов, легшего в основу ЦГАЛИ.

После предложения продать в Музей архив, между В. Бонч-Бруевичем и Мандельштамом состоялся телефонный разговор, реакцией на который и явилось это письмо.

На письмо Мандельштама В. Бонч-Бруевич ответил месяц спустя 24 марта: «...Мы все Вас любим и уважаем,

но никак не можем Вас ставить на одну доску с классиками нашей поэзии. Каждому дано свое».

13 мая Мандельштам был арестован.

№ 20-21. К Б. Л. ПАСТЕРНАКУ. Из сборника *Память*, IV, Утса-Press, 1981, где будут напечатаны письма Б. Пастернака к О. Мандельштаму и пространный комментарий.

№ 22-23. К Е. Я. ХАЗИНУ. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, стр. 257-260.

Письма к Евгению Яковлевичу Хазину, брату Надежды Яковлевны написаны в апреле 1937 г., когда материальное и общественное положение казалось совершенно безнадежным. Тогда же, обращаясь за помощью к К. И. Чуковскому, Мандельштам писал: «Я поставлен в положение собаки, пса... Меня нет. Я — тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство... Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться... Каждый раз отпускаю жену, я нервно заболеваю. И страшно глядеть на неё — смотреть, как она больна. Подумайте: зачем она едет? на чем держится жизнь? Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу». (*Собрание Сочинений*, т. III, стр. 280).

Болезнь, в итоге, не помешала Надежде Яковлевне поехать в Москву вновь в деловую поездку, раздобывать заработки и безуспешно стучаться в редакции журналов. Жить с Мандельштамом, который не мог оставаться один, приехала мать Н. Я., Вера Яковлевна Хазина.

№ 24. В редакцию журнала «Знамя». Впервые в Осип Мандельштам, *Воронежские тетради*, Ardis 1980, стр. 122. Ранняя редакция стихотворения была намного менее крамольной последней, посланной вместе с этим письмом.

№ 25-26. К СТАВСКОМУ. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, стр. 260-262.

Заявление Ставскому (Кирпичников Владимир Петрович (1900-1943), погиб на фронте, после смерти Горького стал генеральным секретарем Союза Советских Писателей) вызвано опубликованием в Воронежской газете «Коммуна» разоблачительной статьи О. Кретовой со следующей угрожающей характеристикой:

«...За последние годы в организацию воронежского обл. отдела союза сов. писателей пытались проникнуть и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди (Стефан, Айч, О. Мандельштам), но были разоблачены...»

В условиях 1937 г. такое разоблачение предвещало новый арест. Возможно, что заявление Ставскому возымело временную силу.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Баллада о горlinkках (коллективное).

Опубликовано в книге: ЧУКОККАЛА. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Изд «Искусство», М., 1979, стр. 236-238 (стр. 237 — автограф стихов).

«Когда *Всемирная Литература* была закрыта, служащий в Гослите третьестепенный переводчик Александр Николаевич Горлин считал возможным совместить в своем лице всю научную коллегию *Всемирной Литературы*. Гонорары шли теперь от него, и те деньги, которые выдавались по его распоряжению в Гослите, стали называться горlinkками. Наше отношение к новому порядку вещей выразили два поэта — Осип Мандельштам и Бенедикт Лившиц».

«Гиз — сокращенное название Государственного издательства». «Литературные вырожденки — Ионов и Горлин объявили ту литературу, которая издавалась во *Всемирной*, упадочнической. Остальные намеки, заключающиеся в этой балладе, ныне стали для меня непонятными. Прошло всего полвека, но я успел позабыть подспудное значение многих стихов». «Двум Александрам тесен дом — намек на Александра Тихонова и Александра Горлина.» (Комментарий К. Чуковского).

На откосы Волга хлынь. Впервые в «Вопросах Литературы» № 12, 1980, в составе публикации Эммы Герштейн. Из архива Б. Рудакова, в котором хранится ряд писем О. Мандельштама. Обращено к Еликониде Ефимовне Поповой, жене известного актера Владимира Яхонтова.

С примесью ворона голуби. Впервые в *Russian Literature*, V, 3, July 1977 по копии рукой адресата (ЦГАЛИ). Посвящено Еликониде Поповой.

Рецензии 1935 г. Впервые в «Подъеме» № 5 и № 6 за 1935 г. Перепечатано Э. Герштейн в «Вопросах Литературы», № 12, 1980. О Г. Санникове (1899-1969) О. Мандельштам писал Б. Рудакову: «Мы [с Белым] не в том, что другие видим матерство» и «Что за чистоплюйство! Мы не можем из книжек в 1000 стихов выбрать 300 прекрасных; хотим, чтобы была гладенькая обструганная книга. Я не могу швыряться поэтами, отмахиваться» (Письма от 20 и 23 июня 1935 г. к Б. Рудакову).

Библиография

I. КНИГИ МАНДЕЛЬШТАМА

- СТИХОТВОРЕНИЯ.** Вступительная статья А. Дымшица. Составление, подготовка текста и примечания Н. И. Харджиева. Библиотека поэта, Советский Писатель, Л., 1973, 334 стр.
- TRISTIA.** Факсимиле с издания 1922 г. Ardis, 1972.
- ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА.** Факсимиле с издания 1928 г. Ardis, 1976.
- КАМЕНЬ.** Факсимиле с издания 1913 г. Ardis, 1979.
- ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ.** Подготовка текста, примечания и послесловие В. Швейцер. Ardis, 1980, 142 стр.

II. КНИГИ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

- BAINES Jennifer.** Mandelstam : The later poetry. Cambridge University Press, 1976, 252 p.
- BLOT Jean.** Ossip Mandelstam. Poètes d'aujourd'hui, n° 206, Seghers, Paris, 1972, 188 p.
- BROWN Clarence.** Mandelstam. Cambridge University Press, 1973, 320 p.
- BROYDE Steven.** Osip Mandelstam and his age. A commentary of the themes of war and revolution in the poetry 1913-1923. Harvard Slavic Monographs, 1, 1975, 245 p.
- COHEN Arthur.** O.E. Mandelstam. An essay in antiphon. Ardis, 1974, 74 p.
- KOUBOURLIS D.** A concordance to the poems of Osip Mandelstam (with a foreword by Clarence Brown). Cornell University Press, 1974, Ithaca, 674 p.
- NILSSON Nils.** Osip Mandelstam : Five poems. Uppsala, 1974, 87 p.

STRUVE Nikita. Ossip Mandelstam. Poésie et religion face à l'Etat. Thèse de doctorat Paris-Nanterre, 1979, 300 p. A paraître en automne 1981 à l'Institut d'Etudes Slaves.

TARANOVSKY Kiril. Essays on Mandelstam. Harvard University Press, 1976, 180 p.

III. СТАТЪИ О МАНДЕЛЪШТАМЕ

BAINES Jennifer. Mandelstam's « Grifelnaja Oda ». A commentary in the light of the unpublished rough drafts. « Oxford Slavonic Papers », New Series, vol. V, 1972.

BROYDE Steven. Osip Mandelstam's « Nasedsij podkovu ». « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, p. 49-66.

BUXSTAB Boris. The poetry of Mandelstam. « Russian Literature Triquarterly », I, 1971, p. 27.

FREYDIN G. The whisper of history and the noise of time in the writings of Osip Mandelstam. « Russian Review », vol. 37, 4, octobre 1978.

FRIOUX Claude. Deux épopées. « Action poétique », 63, 1975, p. 32-36.

HENRY Hélène. Etude de fonctionnement d'un poème de Mandelstam. « Action poétique », 63, 1975, p. 21-31.

MALMSTAD John E. A note on Mandelstam's « V Peterburge my sojdemjsja snova ». « Russian Literature » V-2 April 1977, p. 193-199.

MARTINEZ Louis. Le noir et le blanc. A propos de trois poèmes de Mandelstam. « Cahiers de linguistique d'Orientalisme et de Slavistique », 3-4, août-décembre 1974, Université de Provence, p. 118-137.

MONAS Sydney. An Introduction to Mandelstam. In « Complete Poetry of O. Mandelstam ». State University of New York, 1973, p. 1-28.

RANFIELD Donald. A. Winter in Moscow (Osip Mandelstam's poems of 1933-1934). « Stand », vol. 14, n° 1, p. 18-23.

- RONEN Omry. A beam upon the axe : some antecedents of Osip Mandelstam's « Umyvalsja noc'ju na dvore ». « Slavica Hierosolymitana », vol. 1, Jérusalem, 1977, p. 158-176.
- SOLA Agnès. Mandelstam, poéticien formaliste ? « Revue des Etudes Slaves », t. L, fasc. 1, Paris, 1977, p. 37-54.
- STEINER P. Poem as manifesto : Mandelstam's « Notre-Dame ». « Russian Literature », V-3, juillet 1977 (Special issue Osip Mandelstam II), p. 239-256.
- STRUVE Gleb. Osip Mandelstam and Auguste Barbier. Some notes on Mandelstam's versions of Iambus. « California Slavic Studies », vol. VIII, 1975, p. 131-166.
- STRUVE Nikita. Les thèmes chrétiens dans l'œuvre d'Osip Mandelstam. « Essays in honor of Georges Forovsky », vol. II : « The religion world of russian culture. Russia and orthodoxy », Mouton, 1975, p. 305-313.
- STRUVE Nikita. « Le bruit du temps » dans l'œuvre de Mandelstam. Préface à la traduction d'Edith Scherrer, « Le bruit du temps », L'Age d'homme, 1972, p. I-VIII.
- TERRAS Victor and WEIMAR Karl S. Mandelstam and Celan : Affinities and echoes. « Germano-Slavica », fall 1974, 4, 11-29.
- TODDES E. Mandelstam, Tjutcev. « International Journal of Slavic linguistics and poetics », 17, 1974, p. 3-29.
- VAN DER ENG-LIEDMEIER Jeanne. Mandelstam's poem « V Peterburge my sojdemjsja snova ». « Russian Literature », p. 181-201.
- ГРИГОРЬЕВ А. и ПЕТРОВ. Мандельштам на пороге 30-х годов. « Russian Literature », V-2, апрель 1977, стр. 181-192.
- ИВАНОВ Вячеслав. Два примера анаграмматических построений в стихах позднего Мандельштама. « Russian Literature », 3, 1972, стр. 81-87.
- ИВАСК Юрий. Три лирические молитвы. «Записки русской академической группы», т. X, New York, 1976, стр. 254.
- КАГАНСКАЯ Мая. Осип Мандельштам — поэт иудейский. «Сион», 20, 1977, стр. 174-195.

- КАМНЕВА Т. О статье М. Каганской «Осип Мандельштам — поэт иудейский», «22», 1978, стр. 218-223.
- КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю. Улица Мандельштама. «Вестник Р.Х.Д.», № 111, 1974, стр. 136-170.
- КЛИМОВА Алла. Блаженное наследство О. Мандельштама. «Новый Журнал», 117, 1974, стр. 134-146.
- ЛЕВИН Юрий. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах. Материалы к изучению поэтики О. Мандельштама. «International Journal of Slavic linguistics and poetics», XII, 1969, стр. 106-164.
- ЛЕВИН Ю. Семантический анализ стихотворения. «Теория поэтической речи и поэтическая лексикография». Щадринск, 1971, стр. 13-23.
- ЛЕВИН Ю. Заметки к «Разговору о Данте» О. Мандельштама. «International Journal of Slavic linguistics and poetics», 15, 1972.
- ЛЕВИН Ю. Разбор двух стихотворений Мандельштама. «Russian Literature», 2, 1973, стр. 37.
- ЛЕВИН Ю. Разбор одного стихотворения Мандельштама. «Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky», Mouton, La Haye, 1973, стр. 267-276.
- ЛЕВИН Ю. О частотном словаре языка поэта: имена существительные у О. Мандельштама. «Russian Literature», 10/11, 1975, стр. 147-172.
- ЛЕВИН Ю. О соотношении между семантикой поэтического текста и внетекстовой реальности. «Russian Literature», 10/11, 1975, стр. 147-172.
- ЛЕВИН Ю. Заметки о «Крымско-эллинических» стихах О. Мандельштама. «Russian Literature», 10/11, 1975, стр. 5-31.
- ЛЕВИН Ю. Разбор одного стихотворения О. Мандельштама. «Russian Literature», V-2, 1977, special issue Osip Mandelstam (1), стр. 115-122.
- ЛЕВИН Ю. Заметки к статье Мандельштама о Чехове. «Russian Literature», V-2, 1977, стр. 174-175
- ЛЕВИН Ю. Заметки о поэзии О. Мандельштама тридцатых годов (1). «Slavica Hierosolymitana», III, 1978, стр. 110-173.

- ЛЕВИНТОН. На каменных отрогах Пиэрии Мандельштама: материалы к анализу. « Russian Literature », V-2, 1977, стр. 123-170; V-3, 1977, стр. 201-236.
- МАНДЕЛЬШТАМ Надежда. Моцарт и Сальери. « Вестник Р.С.Х.Д. », 103, 1972, стр. 237-178.
- ПШИБЫЛЬСКИЙ Ричард. Осип Мандельштам и музыка. « Russian Literature », 2, 1972.
- ПШИБЫЛЬСКИЙ Ричард. Рим Осипа Мандельштама. « Россия », 1, 1974, стр. 144-184.
- РОНЕН Омри. К истории акмеистических текстов. Опущенные строфы и подтекст. « Slavica Hierosolymitana », III, 1978, стр. 71-73.
- РОНЕН Омри. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, стр. 367-385.
- СЕГАЛ Д. Наблюдения над семантической структурой поэтического мышления « International Journal of Slavic linguistics and poetics », XI, 1968, стр. 151-171.
- СЕГАЛ Д. О некоторых аспектах смысловой структуры « Грифельной оды » О. Мандельштама. « Russian Literature », V, 1972, стр. 49-102.
- СЕГАЛ Д. Память зренья и память сердца (опыт семантической поэтики, предварительные заметки). « Russian Literature », 7/8, 1974, стр. 122-131.
- СЕГАЛ Д. Микросемантика одного стихотворения. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1978, стр. 345-405.
- СЕГАЛ Д. Фрагмент семантической поэтики О. Э. Мандельштама. « Russian Literature », 10/11, 1975, стр. 59-146.
- СЕГАЛ Д. Еще один неизвестный текст Мандельштама. « Slavica Hierosolymitana », III, 1978.
- СЕДУРО В. О Петербурге Мандельштама. « Новый Журнал », 134, стр. 84-91.
- СЕМЕНКО Ирина. Мандельштам — переводчик Петрарки. « Вопросы Литературы », 10, 1970, стр. 153-168.
- СТРУВЕ Никита. Осип Мандельштам в библиотеке поэта. « Вестник Р.Х.Д. », 111, 1974, стр. 181-184.

- ТЕРРАС Виктор. Осип Мандельштам и его философия слова. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, стр. 455-460.
- ТИМЕНЧИК Р. Заметки об акмеизме. « Russian Literature », 7/8, 1974, стр. 23-46.
- ХАРДЖИЕВ Н. Восстановленный Мандельштам. « Russian Literature », 7/8, 1974,
- ЭТКИНД Ефим. «Раковина», стихотворение Осипа Мандельштама. «Форма как содержание», Würzburg, 1977, стр. 203-204.
- ЭТКИНД Ефим. Цветы как метафоры. «Форма как содержание», Würzburg, 1977, стр. 205-209.
- ФЛЕЙШМАН Л. Эпизод с Безыменским в «Путешествии в Армению». « Slavica Hierosolymitana », III, 1978, стр. 193-197.
- ФУСТЕР Людмила. Некоторые лексические и семантические особенности сборника *Tristia* Осипа Мандельштама. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, стр. 125-133.

IV. ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАНДЕЛЬШТАМА

а) На английский язык

- COMPLETE POETRY OF MANDELSTAM. Translated by Burton Raffel and Alla Burago, Introduction and Notes by Sidney Monas. State University of New York Press, Albany, 1973, p. 1-350.
- O. MANDELSTAM. *Selected Poems*. A bilingual edition, translated and with an introduction by David McDuff. Farrar, Straus & Giroux, New York 1974, 182 p. N° N° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 42, 62, 81, 88, 89, 92, 103, 105, 111, 112, 113, 118, 121, 123, 125, 127, 137, 140, 144, 203-215, 221, 224, 227, 237-246, 268, 275, 278, 279, 281, 286, 341, 350, 352, 354, 355, 358, 361, 362, 365, 366, 367, 374, 376.

Osip MANDELSTAM. Poems chosen and translated by James Greene. Forewords by Nadeshda Mandelstam and Donald Davie. Schambala, 1978, 80 p. N° N° 1, 3, 4, 6, 8, 9, *11, *14, 15, 19, *20, 21, 26, 30, 31, 32, *33, *34, 37, 38, *39, 54, 65, 78, 80, *165, *178, 82, *84, 89, 90, 92, 93, 104, *108, 112, *113, 116, 117, 119, 121, *123, *126, 127, *131, *132, 135, *136, *203, 227, 235, 307, 341, 347, *349, 351, 352, 353, 354, 357, 358, *362, *365, 366, 367, 368, 370, *372, *374, *380, *383, 384, 385, *387, 388, *393, 394.

SIX POEMS OF OSIP MANDELSTAM, translated by W.S. Merwin and Clarence Brown. The New York Review of Books, January 25, 1973. N° N° 360, 366, 380, 383, 387, 385.

OSIP MANDELSTAM. A Poem, translated by Max Hayward and Jon Stallworthy. The Times Literary Supplement, London, April 30, 1971, p. 492. N° 233.

RUSSIAN LITERATURE TRIQUARTERLY, Editors Carl R. Proffer and Ellendrea Proffer, Ann Arbor, 4 (Fall 1972), p. 63. N° 288.

FIVE POEMS, translated by Clarence Brown and W.S. Merwin. Antaeus, Tangier, Morocco, Summer 1972, pp. 92-98. N° N° 24, 111, 312, 317, 375.

б) На французский язык

Action poétique n° 50, 1972.

N° N° 146, 63, 88, 192, 125, 126, 133, 197, 144, 303, 343, 349, 355, 354, 362. Traduits et présentés par Serge Andrieux.

Action poétique N° 63, 1975.

N° N° 2, 8, 18, 21, 22, 28, 29, 104, 108, 119, 113, 140, 141, 281, 299, 306, 313, 352, 360, 372, (traductions d'Hélène Henry et de M. Regnault), 420, 423 (traductions de Léon Robel).

OSSIP MANDELSTAM. *Tristia et autres poèmes*. Choisis et traduits du russe par François Kérel, Gallimard, 1973. N° N° 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125,

126, 127, 128, 135, 136, 137, 140, 141, 144, 203,
215, 221, 227, 229, 232, 235, 251, 254, 260, 261,
265, 267, 270, 271, 272, 275-285, 286, 288, 289,
290, 291, 296, 299, 305-306, 308-310, 312, 313,
341, 350, 351, 352, 354, 356, 358, 359, 365, 366,
367, 374, 378, 382, 387, 388, 394.

OSSIP E. MANDELSTAM. Le Bruit du temps. Traduit et annoté
par Edith Scherrer. L'Age d'Homme, 1972, 130 p.

OSSIP E. MANDELSTAM. Voyage en Arménie. Traduit par
Claude Levenson. L'Age d'Homme, 1973, 90 p.

OSSIP E. MANDELSTAM. Entretien sur Dante. Traduit par
Louis Martinez. L'Age d'Homme, 1977, 86 p.

OSSIP MANDELSTAM. La Quatrième Prose. Traduit et pré-
facé par Christian Mouze. Le Nyctalope, Paris 1980,
32 p.

V. ГОЛОС О. МАНДЕЛЬШТАМА

О. Мандельштам читает:

«Нет никогда ничей я не был современник»
«Цыганка» (Сегодня ночью не солгу)

Голоса зазвучавшие вновь, 1908-1956, Мелодия, М-90-
39637-8 (1978)

«Я по лесенке приставной»

Голоса зазвучавшие вновь, 1908-1956, Мелодия, М-40-
39857 (1978)

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| От составителя | 7 |
| СТИХИ | |
| 496. О, красавица Сайма | 11 |
| 497. Музыка твоих шагов | 12 |
| 498. В непринужденности творящего обмена | 12 |
| 499. Довольно лукавить: я знаю | 13 |
| 500. Пилигрим | 13 |
| 501. Сквозь восковую занавесь | 14 |
| 502. ... коробки | 14 |
| 503. Листьев сочувственный шорох | 15 |
| 504. В изголовьи черное распятие | 15 |
| 505. Стрекозы быстрыми кругами | 16 |
| 506. Медленно урна пустая | 16 |
| 507. Я знаю, что обман в видении немислим | 17 |
| 508. Когда подымаю | 18 |
| 504. Дождик ласковый, тихий и тонкий | 18 |
| 510. Не спрашивай: ты знаешь | 19 |
| 511. В белом раю лежит богатырь | 20 |
| 512. Дочь Андроника Компена | 20 |
| 513. Железо | 21 |
| 514. Тяну́ли жилы, жили были | 21 |
| 514. Ты должен мной повелевать | 22 |
| 516. Мир начинался страшен и велик | 22 |
| 517. (Стихи о Сталине) | 23 |
| 518-530. Отрывки и строчки из утерянных стихов | 26 |

Эпиграммы, шуточные стихи

| | |
|--|----|
| 531. Актеру, игравшему испанца | 29 |
| 532. Ubi bene, ibi patria | 29 |
| 533-540. Маргүлеты | 30 |
| 541. Эпиграмма в терцинах | 31 |
| 542. Ходит Вермель, тяжело дыша | 32 |
| 543. Счастия почти отчаяв , , , , , . | 32 |
| 544. Какой-то гражданин | 33 |
| 545. Источник слез замерз | 33 |
| 546-548 ^{bis} . Экспромты Наташе Штемпель | 34 |

Переводы

| | |
|--|----|
| 549. Плоть опечалена и книги надоели (С. Малларме) . . | 37 |
| 550. Бирнамский лес (Т. Табидзе) | 38 |
| 551. Песня о Роланде | 39 |
| 552. Паломничество Карла Великого в Иерусалим и Константинополь | 55 |
| 553. Коронование Людовика | 64 |
| 554. Берта — большая нога | 69 |
| 555-557. Неаполитанские песенки | 71 |

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИИ

| | |
|-------------------------------------|----|
| Отброшенные строфы | 81 |
|-------------------------------------|----|

Первоначальные редакции

| | |
|---|----|
| Аббат | 82 |
| Федра | 83 |
| Как пахнут тополя — мы пьяны | 84 |
| Есть между нами похвала без лести | 83 |
| Ночь. Дорога. Сон первичный | 85 |

| | |
|---|----|
| Варианты отдельных строф | 87 |
|---|----|

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Шуба | 93 |
| Гротеск | 96 |
| Кисловодск весной | 98 |
| Отрывок из статьи «Пушкин и Скрябин» | 100 |

| | Стр. |
|--|------|
| Отрывок из статьи о переводах | 101 |
| Татарские ковбои | 101 |
| Шпигун | 103 |
| О пьесе А. Чехова «Дядя Ваня» | 107 |
| Из радио-передачи о Гёте | 109 |
| Из внутренней рецензии на книги стихов А. Коваленкова | 114 |
| ПИСЬМА | |
| № 1. К Матери | 115 |
| № 2. К С. З. Федорченко | 116 |
| № 3-7. К Н. Я. Мандельштам | 117 |
| № 8. Отрывок из письма к отцу | 118 |
| № 9. К Ев. Замятину | 119 |
| № 10. К Венедиктову | 119 |
| № 11. К И. И. Ионову | 121 |
| № 12. В Федерацию Сов. Писателей | 126 |
| № 13. Заявление | 128 |
| № 14. Советским писателям (отрывок) | 129 |
| № 15. Открытое письмо советским писателям | 130 |
| № 16. К тов. Гронскому | 137 |
| № 17. В Горком писателей | 138 |
| № 18. Отрывок из письма к М. С. Шагинян | 138 |
| № 19. К В. Д. Бонч-Бруевичу | 139 |
| № 20. К Б. Л. Пастернаку | 139 |
| № 21. К Б. Л. Пастернаку | 140 |
| № 22. К Е. Я. Хазину | 140 |
| № 23. К Е. Я. Хазину | 141 |
| № 24. В редакцию журнала «Знамя» | 143 |
| № 25. В Секретариат Союза Советских Писателей | 143 |
| № 26. К В. П. Ставскому | 145 |
| Дополнение | 146 |
| ПРИМЕЧАНИЯ | 171 |
| БИБЛИОГРАФИЯ | 191 |
